

[Polaris]

ЗВЕЗДНАЯ



ЕВА

Фантастика русской эмиграции

Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССVII



Salamandra P.V.V.

ЗВЕЗДНАЯ ЕВА

Фантастика русской эмиграции

Том II

Составление и комментарии
М. Фоменко

Salamandra P.V.V.

Звездная Ева: Фантастика русской эмиграции. Том II. Сост. и прим. М. Фоменко. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 172 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCVII).

В сборник включены некоторые редкие и в большинстве своем никогда ранее не переиздававшиеся фантастические произведения писателей русской эмиграции, затерянные на страницах эмигрантской периодики 1920-1930-х годов.

В книге представлена разноплановая фантастика – от сатирико-утопических произведений до фантастики мистической, «ужасных» рассказов, футурологических очерков и т. д. Разнятся между собой и авторы: наряду с известными именами читатель найдет здесь и забытых литераторов, чьи произведения, однако, не менее характерны для фантастики эмиграции.

© Authors, estate, 2017

© М. Fomenko, состав, примечания, 2017

© Salamandra P.V.V., оформление, 2017

**ЗВЕЗДНАЯ
ЕВА**

Н. Наядин (Прохожий)

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПЛЕМЕНА



Уже очень давно величественные залы Лондонского Королевского Географического Общества не видели такого оживления, такого съезда знаменитейших путешественников и исследователей, как в день сенсационного доклада профессора Шримпа, молодого, но уже выдвинувшегося своим трудом «О вероятных причинах возникновения и исчезновения племени “Ву-ву”, по источникам финикийян и нубийцев в III веке до Р. Х.».

Профессор Шримп докладывал об открытом им в джунглях Африки совершенно неизвестном науке племени «Белых дикарей».

Дикари эти по преимуществу люди большого роста, светлоглазые, одеты в звериные шкуры, промышляют охотой первобытным способом: копьями и стрелами. Женщины у них отличаются красотой и плодовитостью. Говорят эти дикари на языке ему, члену Королевского О-ва, неизвестном, причем разговор свой часто прерывают лошадообразным хохотом. По-видимому, — язычники. Профессору Шримпу, с риском быть замеченным, убитым и съеденным посчастливилось увидеть в бинокль их религиозный обряд, во время которого дикари часто валились на землю, махая правой рукой. Полунагие женщины, с леопардовыми шкурами на бедрах, довольно гармонично пели священные гимны.

Главный жрец, — из себя мужчина суровый, сильно волосатый, седой и тучный. После обряда дикари на него на-

брасывались и нюхали ему руки.

Селение вновь открытых дикарей расположено под 15° южной широты и 85° долготы, за землями каннибалов и черных карликов, среди необъятного девственного леса, кишущего кровожадными зверьми и ядовитыми гадами. Миль на 65 севернее их селения лежат знаменитые и почти неисследованные болотистые равнины «Тафанда», прозванные туземцами «Проклятой долиной». Смертельные испарения этих болот являются причиной мучительной и верной смерти всякого живого существа, попадающего в эту роковую полосу.

Именно недалеко от этого места погиб в 1777 году известный английский путешественник капитан Вильям Мак-Корк и в 8 милях именно от этого места теряются следы португальской экспедиции Ле Горта 1798 года и голландской, — Юлиуса Ван Кактуса 1800 года.

Легко себе представить те невероятные лишения и трудности, которые выпали на долю профессора Шримпа и его экспедиции на путях к изумительному открытию.

Почти все переболели цингой; когда припасы вышли, — экспедиция 52 дня питалась корнями и пила мутную воду из редких в этой знойной стране источников. Треть отряда погибла в борьбе с зулусами и черными карликами, следовавшими за экспедицией по пятам, как шакалы.

Помощник профессора Шримпа, доктор Томас Гейлл, был съеден каннибалами в сыром виде.

За время своего 7-ми месячного путешествия до становища дикарей экспедиция сделала 9.984 мили, причем треть этого расстояния никогда не была исследована.

* * *

В результате бурных прений, последовавших за замечательным докладом профессора, Лондонское Королевское Географическое О-во решило в срочном порядке снарядить новую экспедицию, обеспеченную всем необходимым

для проверки и удостоверения изумительного открытия. Военное министерство выдало экспедиции 7 пулеметов Луиса; Морское в свою очередь снабдило экспедицию пре-красной яхтой «Волкодав». В состав экспедиции вошли за-метные представители всех отраслей науки; привлеченные опасностью предприятия и возможностью сенсационных авантур, зачислились в экспедицию лучшие охотники и стрелки, имена которых появлялись не раз на страницах журналов: «The Hunter», «Adventures», «The Flame of Glo-гу» и многих других.

* * *

В ноябре месяце экспедиция, в составе 84-х человек, со-путствуемая восторженными криками громадной толпы, рыданиями близких, горячими пожеланиями друзей, под звуки музыки двух военных оркестров отплыла от туман-ных берегов Англии к берегам далекой, знойной, таинст-венной Африки.

В последний момент к экспедиции присоединился рус-ский ученый, б. приват-доцент Московского университета Джон (Иван Дымбин).

* * *

Через несколько месяцев оставшаяся на ногах часть экспедиции, во главе с профессором Шримпом, изнуренная лишениями и болезнями, потерявшая от тропической ли-хорадки и в схватках с черными дикарями большую часть своего состава, прорубая себе узкий путь в зарослях девст-венного леса, приблизились к становищу «Белых дикарей». Совсем внезапно, будто откуда-то свалилась, нахлынула тропическая ночь и своей черной, густой пеленой залила и лес и измученных людей.

Вместе с наступлением темноты, лес ожил; где-то не-вдалеке мрачно и грозно зарыкали львы, истерически-визгливо захохотали гиены, тоскливо завопила какая-то птица. Ягуар запел протяжно и сладострастно. Чувство тоски, предчувствие чего-то страшного, неотвратимого вошло в души трепещущих путешественников. Шримп, еле держащийся на ногах от усталости и голода, шепотом отдал приказание и экспедиция, выставив два уцелевших пулемета, залегла в густых зарослях, шагах в трехстах от лагеря дикарей.

На поляне, тонувшей в густом мраке тропической ночи, было разбито несколько больших шалашей. У пылавшего костра виднелись три полуобнаженных фигуры, освещенных зловецим красным пламенем

Лица дикарей были закрыты густыми, длинными космами волос и широкими бородами. На каждом дикаре была тигровая шкура, пристегнутая под подбородком ожерельем из львиных зубов. Двое, лежа у костра, изредка поправляли жарившийся на железном стержне огромный окорок. Иногда они перебрасывались короткими фразами.

Приват-доцент Дымбин, который страдал сильной близорукостью и у которого очки дорогой были конфискованы королем черных карликов, со своего места ничего не видел и, решив подобраться поближе, осторожно, сдерживая дыхание, исцарапав в кровь руки и колена, подполз, к ужасу профессора Шримпа, к самым шалашам и, напряженно вытянув шею, стал прислушиваться.

В этот момент дикарь, стоявший у костра, перехватил копьё на руку и ткнул им в костер; из костра с треском вылетел сноп красных искр.

Дикарь, лежавший мечтательно у костра, лениво повернул голову и проговорил:

— Вы бы, Семен Петрович, чем костер ворошить, лучше бы своим копышком ягуарчика на другой бок перевернули бы... А то подгорит, не дай Бог...

— Не подгорит... — низким басом отозвался другой, лежавший у костра, — чего ему подгорать... Он мокрый еще... Его, проклятого, моя Марья Ивановна сутки в обезьяньем молоке мочила... Не подгори-и-ит...

Дымбин от неожиданности икнул и приподнялся.

Дикари моментально вскочили и, натянув луки, повернулись в его сторону...

— Не иначе как тигр.... — проговорил один мягким тенорком.

А Дымбин, не помня себя, кинулся на поляну и подбежал к костру.

— Семен Петрович, — заорал он в исступлении, схватывая в свои объятия дикаря, стоявшего раньше у костра, — Бородкин!... Вы ли это?!... С ума я схожу, что ли?!...

У дикаря, в свою очередь, от изумления лопнуло ожерелье из львиных зубов, тигровая шкура мягко упала на траву и его обнаженное тело, тело члена судебной палаты Семена Петровича Бородкина, предстало перед восхищенным взором Дымбина точь-в-точь таким, каким он часто видывал его в московских Сандуновских банях. Только пополнил будто.

— Дымбин... Ванюш... — в сладостном изнеможении прошептал дикарь, смахивая с левого глаза неожиданную слезу. — И где привелось видеться... Бож-же мой, Божже. Сколько лет, сколько зим?... А?

Двое других дикарей, поборов первое изумление и испуг перед европейцем, приосанились и, шаркнувши босыми ногами, проговорили:

— Разрешите представиться: бывший командир тяжелой батареи, капитан Пенка...

— Председатель уездной земской управы Окуньков...

Капитан Пенка снял с ремня у пояса трубу из бегемотова хвоста и в ароматном воздухе тропической ночи бодро и радостно пропел сигнал:

«...Быстро вскочивши,
Исполним свой долг...»

В тот же миг поляна ожила и наполнилась людьми. Из шалашей выскакивали мужчины с кольями и стрелами в руках; выбегали женщины, прекрасные, обнаженные, наспех накидывая на себя звериные шкуры: слышались

крики и плачь детей...

— Это сигнал на случай нападения львов, — звякнув воображаемыми шпорами, дружелюбно объяснил капитан Пенка.

С вершины высоченных пальм с молниеносной быстротой и ловкостью обезьян спустилось несколько обнаженных молодых людей. Один из них, заметив незнакомого, поспешно втиснул в глаз монокль из слюны молодого аллигатора, подошел к Дымбину и сказал:

— Представляюсь: адвокат Аполлон Бантов.

Между тем, толпа дикарей окружила Дымбина. Со многими он был знаком. Раздались восклицания:

— Конечно ж, на Малой Бронной... Господи ж...

— Хо-хо-хо... Да, да... Собинов еще тогда себе на фрак уху вывернул...

— Эх, Иньков-то ведь в вашей Европе помер...

— Будем знакомы: протоиерей Воздвиженской церкви Ароматов.

* * *

Когда волнение улеглось и все уселись у костра, княгиня Грен-Гренская предложила Дымбину чайку из зеленых почек молодых кактусов, поданных в маленьких обезьяньих черепахах. Семен Петрович Бородкин был главой племени и, так как он отличался гурманством и ревниво следил за столом, то твердая и гладкая, как доска, кожа слона, заменявшая скатерть, была уставлена самыми разнообразными закусками: паштет из язычков молоденьких крокодильчиков, копченые ушки леопардовых детенышей, сладкое молоко диких кошек с сухариками из сухих финиковых листьев, колбаса из тигровых щек и еще много такого, чего никак не найти в лучших европейских ресторанах.

Насытившись и закулив душистую сигару из листьев «Индексос Пнеуматикон», Семен Петрович, отвечая на град вопросов Дымбина, степенно повел рассказ:

— Началось, батюшка, все из-за виз проклятых... Всякий из нас раньше хотел в Европу проехать... Кто в Берлин, кто в Париж, кто в Вену... И «американцев» много было... Бегали, просили, молили... Никуда виз не давали. Говорили: «Опасный вы народ; разложить нас можете... обременить и обобрать нас можете!» Таким образом в Александрии, два года назад, образовалась большая компания без виз, без работы и со смертельным желанием бежать, — хоть к черту на кулички. Лишь бы сесть и жить без виз, без паспортов, без надзора, без политики... Ну, — и пошли...

— Блаженни яже оставите богатства тленные и собрания нечестивых, — вставил батюшка торжественным голосом.

— Во-во... Ну и вот, после долгих мытарств, — мы, 157 человек, — и набрели на наше нынешнее государство... И счастье еще наше было, что у нас было много военных... А то ведь мы войны вели и с зулусами, и с каннибалами, и с другими, — имена же их ты Господи веси... Племя «Лесных детей» до сих пор нам дань платит...

— Мы с них сушенными фруктами и молодыми слонами получаем, — проговорил солидный мужчина в выцветшей фуражке акцизного ведомства.

— Однажды, батенька, 4 дня вели бой с зулусами и выскочили только благодаря тому, что наш полковник зашел к ним в тыл.

— Никак нет, Семен Петрович, — вежливо прервал Бородкина бравадный человек в пушистой пелеринке из львиных грив, — по-видимости, бывший гусар, — я применил охват флангов, — тактика ликвидации Молодечненского прорыва 1916 года...

— Во-во, — именно охват флангов — с удовольствием повторил Семен Петрович. — Посадил, понимаете, 60 человек на слонов, которых приручил Сергей Сергеич, — он раньше был учителем ботаники и зоологии.

— Принцип индусской кавалерии англичан, — вставил гусар.

— Во-во-во... будто индусы... И трах-тарарах на эфиопов! Те, конечно, драпу... Я сам бумерангом 9 человек уло-

жил. А теперь у нас и артиллерия есть; капитан Пенка две катапульты соорудил. Мы ими от носорогов и львов отбиваемся...

Бородкин почесал свое голое колено и живо спросил:

— А Клопотова, Егор Петровича, — помните? Жаль, — лишились мы его. Народец тут есть один, — «Занзиранги»... Так они его к себе королем пригласили. Как мы его не отговаривали, — пошел таки!» Опротивела, говорит, мне жизнь беженская; желаю царствовать и, теперь, говорит, сам буду визы выдавать». Вот на прошлой неделе его приносили сюда в преферанс играть. Он своим занзирангам приказывает носить себя на носилках и петь ему хвалебные гимны. Стыдили мы его, — все-таки человек и в летах уже и присяжный поверенный, — ничего не помогает. «С детства, говорит, честолобив был». Является всегда со свитсой, с музыкой. Одну арапку выучил «Гайда тройку» петь. Говорить, хочет цыганский хор составить. Имен их не знает, — так у всех на голых животах цифры белой краской намалевал. И ему удобно, — и им нравится... Чудак!..

Костер догорал... Семен Петрович задумался... Где-то в лесу зарычал лев и завыл шакал. Семен Петрович прислушался и с удовольствием сказал:

— Так и живем теперь здесь, так и поживаем... воздух прекрасный, лес, вода родниковая... дичь и плоды... Вот у Верочки Семенцовой что-то вроде туберкулеза было, — так теперь и помину нет.. Виктор Александрович театр открыл; Федулин газетку на буковой коре издает. Нечего Бога гневить, — хорошо у нас... Ни болезней, ни тревог, ни политики, — знай живи, толстей, — да Бога славь. Наш отец Ароматов каждый вечер службы отправляет...

— Ибо в Писании сказано: «Не единым хлебом жив человек». — низким басом отозвался батюшка.

Долго рассказывал Бородкин и перед Дымбиным встала полная картина обретенного этими людьми благополучия и духовного равновесия. На его робкий вопрос, не нужны ли визы в Европу, к культуре, — полуголые люди в звериных шкурах чистосердечно и мягко рассмеялись.

— Бог с ней, с Европой этой... Будет! Заболеешь еще

там... Опять же партии там разные... Социализмы, конфискации, репрессии, депрессии, интриги... Будет.

— Бог с ней, с Европой, — разнеженно повторил Бородин, — живем мы тихо, мирно, благородно... работаем, боремся за жизнь и размножаемся... Нет ни забот, ни времени... Вверху небо, — а внизу мы... мелкие рабы, преданные Господу...

— Ибо сказано, — проникновенно вставил батюшка, — «У Бога тысяча лет, как один день, — и один день, как тысяча лет».

Взволнованный Дымбин вскочил с места, сорвал с себя пиджак и стал нервно расшнуровывать ботинки.

— Остаюсь с вами, — закричал он, — подайте мне леопардовую шкуру!

* * *

Когда Дымбин кинулся на поляну, профессор Шримп, задрожав от ужаса, подал экспедиции знак к отступлению.

Очутившись на безопасном расстоянии, Шримп решил, что Дымбин от пережитых потрясений сошел с ума, что он съеден дикарями, что долее оставаться экспедиции небезопасно, что цель экспедиции, — проверить и удостоверить открытие — достигнута, а посему можно ехать обратно на родину.

* * *

Несомненно то, что в самых отдаленных уголках земного шара существуют племена неизвестных науке белых дикарей. Но если наука этого не знает, — нашего брата не проведешь:

Мы знаем, что это за публика!

А. Росселевич

НАШИ НА ЛУНЕ

Василий Иванович Штучкин, сотрудник русской газеты «Разное время», шел по темным и грязным белградским улицам в самом подавленном состоянии духа. Редактор вечно задерживает плату, совершенно не желая считаться с тем, что Василий Иванович ведет такой ответственный отдел, как «Вести с Родины», и даже сам в случае нужды пишет письма из Советской России! И из-за небрежности редактора — квартирная хозяйка уже подозрительно смотрит на самого Штучкина, а сегодня так прямо заявила ему: «Ви, господине, не мойте да ме гнявите!», иными словами, «убирайтесь к монаху!»

«Какая наглость, какая несправедливость!» — думал Василий Иванович, переходя через мрачную улицу Короля Александра. «Толстая дура-хозяйка совершенно не желает понять, что я ведь скоро получу деньги и уплачу за все! Ну, правда, с опозданием, но я же объяснил ей причины!» И, окончательно огорченный, Василий Иванович зашевелил губами и, подумав немного, решил отправиться в «Теремок», уютный русский ресторан, где его терпеливо кормили в кредит.

Придя туда, он уселся у печки, задумчиво посмотрел на стенных павлинов, чему-то улыбнулся и подозвал юношукельнера:

— Дай мне, братец Коля, водчонки динара на четыре!

— Хозяин велел, чтоб вам больше в кредит водки не давать, — пробасил пухлый Коля.

— Скажи хозяину... как его?... чтоб не валял дурака! Что он, не верит, что ли?... этого... в первый раз я пришел, что ли?

— Потому и не дает, что не в первый раз! Уж научены! — вмешался из-за буфетной стойки другой кельнер, вечно мрачный Иван Васильевич. — Знаем уж, не в первый раз!

Но Василий Иванович не удостоил его ответом:

— Одним словом, дай мне водки, Коля! С хозяином я сам... того... сам поговорю потом!

— Ну, ваше дело! Закуску тоже?

— Какая к черту закуска! Впрочем, давай чего-нибудь, все равно платить не буду. Только хлеба побольше, уж ты там постарайся!

Не успел Василий Иванович получить все заказанное, как в ресторан вошел его друг и приятель, Михаил Михайлович Перевракин, юркий и пронырливый человечек с увлекающимся характером и кучей всевозможных планов и предприятий в голове. Подсел, помолчал, тоже спросил себе водки и селедку.

— Плохи дела, брат Вася! Не жизнь, а одна беда!

— Собачья жизнь, что и говорить! — вздохнул Штучкин.
— Давай, брат, выпьем с горя! Водка... Она, брат, штука полезная... от всего полезно, говорю... ну, будь здоров! Да! Хозяйка меня выпирает из комнаты, вот какие дела!

— Да ну? Как же это она тебя выпирает-то?

— Что, как же? Вот так и выкидывает: «хайде», говорит, «одлази»! Вот по тому самому я теперь и в рассуждении. Ну, выпили еще по одной? Как его?.. Дрянь хозяйка, говорю, глупая баба, невозможно и разговаривать с ней!..

Оба помолчали и выпили по третьей рюмке.

— А я к тебе, Василий Иваныч, по делу, предложеньице есть одно, — озабоченно заявил вдруг Перевракин.

— Рассказывай! Опять, небось, кабаре в Гроте устраиваешь? Нет, брат, я теперь больше не того... как его?... больше, говорю, не хочу дурака валять. Хватит! С тобой того и гляди в беду вляпаешься!

— Это ты напрасно! Ну, на кабаре прогорели. Но я-то тут не при чем совсем. Публика не пришла, я тут не виноват! Все сделано было как нужно, да разве нашу публику расшевелишь? Не пришла, да и только, вот и прогорели! Нет, братец ты мой, тут теперь дело верное. Заработаем, можно сказать, не пустяки, дело, брат, не динарами, а франками пахнет. Тут, Василь Иваныч, разговор в тысячах идет, вот как!

— Ну?! — оживился Штучкин.

— Вот и я тоже говорю. Уезжать нужно отсюда, из Югославии. Нашел я, брат, сегодня в газете сообщеньице, давай, думаю, попытаем фортуны. Ну, понятно, думаю, надо пого-

ворить с приятелями — с Василь Иванычем, да с Деревянным.

Штучкин медленно пошевелил губами и неожиданно разозлился:

— В газете!.. этого... знаю я эти газеты, меня, брат, не проведешь, сам в газете работаю. Уезжать! Знаю, что надо уезжать... как его?.. да ехать некуда и не на что... черта лысого!.. Тоже вот, искали дураков. В Конго бельгийское ехать, говорят, по 5000 жалования, есть бананы, плевать в потолок и черт его знает, чего не наобещали. Записался, внес 200 динар на хлопоты, да на почтовые расходы, да только вышли одни неприятности. До сих пор еще не забыл! Проплевал я, братец, свои 200 динар.

— Каким образом? — заинтересовался Перевракин.

— Очень просто. Уехал!.. Красавец-то мой... тот самый, что записывал... Иуда-то мой! Записался в Технопомощь и уехал во Францию... Да и не я один поверил Иуде, пятеро нас было, так ему тысячу динар и скормили. Я же, старый дурак, даже фамилию его не спросил! Как же, говорит, уполномочен самим бельгийским консулом, был уже в Конго. Дали ему деньги... Придите, говорит, через две недели, сразу вам и визы и подъемные выдам. Пришел... его и след простыл, хозяйка заявила, что еще в тот вечер он уехал во Францию. Вот как!

— Здорово! Но как же ты поверил ему, а?

— Да как не поверить? Не я один был, пятеро нас приходило. Нет, брат, я теперь больше не того... как его?... никуда больше не полезу. Черта лысого!.. вот что!

— Ты, Василь Иваныч, стой, не ругайся! Прочти сперва газету. Это тебе не Конго и не кабре в Гроте. Дело франками пахнет, а не так себе! Ищут, значить, желающих на Луну лететь! Вот что!

— Как? К...куда? — выпучил глаза Василий Иванович.

— На Луну, говорю тебе, на Луну!

— Этого... как его?.. Как же это на Луну-то? Да что ты, брат, пьян, что ли? Что ж ты, меня за дурака считаешь? — опять рассердился Василий Иванович.

— Зачем за дурака? Я правду говорю. Вот слушай, я тебе газету прочту.

— И слушать не хочу, газета брешет!

— Да ты постой, прочту сначала, потом будешь ругаться. Слушай, вот оно: «Официальное сообщение из Бельгии...»

— Что? Опять Бельгия? Нет, довольно!

— Вот не дает слова сказать, да и только! «Брюссель, вчерашнее число. Инженер-конструктор Дельво, знаменитый изобретатель аппарата для сношений Земли с другими планетами, вызывает желающих совершить первый полет на Луну, с целью исследовать возможности колонизации земного спутника. Необходимы три человека, абсолютно здоровые, интеллигентные и не семейные. Предложения адресовать по адресу: Брюссель, рю Журдан. 59. Конкурс продлится один месяц; условия по соглашению, отправка немедленно, возвращение на Землю гарантировано. Вот оно! Вася, поедем! Само счастье в руки лезет, едем, говорю, да и все тут!

— Черта мы там делать будем? Медведь пусть едет, а я... этого... как его?... Что я говорил?... Да, что мы там потеряли?

— Василь Иваныч, дорогой! Пойми ты меня, Луна-то ведь это — вот!

Перевракин захлебнулся и поцеловал кончики своих пальцев:

— Эх, Коля, тащи нам, голубчик, водки на пять динар, какое на пять, давай на десять и прочее, разное!.. Эх, Вася, да как же тут, да что уж думать! Пойми ты меня, науку двигать будем, новые горизонты и тому подобное, меновую торговлю там откроем, кабаре воздвигнем, ведь государством же сделаемся, а не то что!.. Эх, Вася, что тут думать, летим, друг, водрузим там знамя культуры и прочее. Луна, это, брат, такое, что во! ни тебе квартирных хозяек, ни собачьей жизни, на Землю плевать будем, а не как-нибудь! По рукам, брат Вася, летим?!

Василий Иванович был окончательно ошеломлен:

— По...постой! П...погоди! Как его?.. Лететь-то... тоже ведь, не близко... этого... как же это лететь?

— Э!... Чего ж тут думать, они там уж придумали! Брось! Уж раз зовут лететь, так значит можно! Да что ж долго думать, люди мы не семейные, чего раздумывать, да гадать. С Деревянным уж мы по рукам ударили, теперь за тобой одним останова. Ну, по рукам, что ли?

В этот момент на пороге появилась коренастая фигура Петра Ефимовича Деревянного, угрюмого и неразговорчивого сибиряка. На этот раз он был как-то неестественно возбужден и еще с порога пробасил: — «Ге! Здравствуйте!», чего обыкновенно никогда не делал. Перевракин обрадованно кинулся к нему:

— Петя, родимый ты мой, скажи ему, правду ли я говорю?

— Известно, правду! А насчет чего это разговор ведется?

— Да насчет Луны же! — взмахнул руками Перевракин.

— А, насчет этой... Луны, да? Чего ж? Раз плюнуть! Лечу! Чего мне думать? Коля, водки!

— Вот это я люблю! — обрадовался Михаил Михайлович. — Чего там долго думать, раз и готово! Ну, решай, Василь Иванович! Эх, и заживем же мы там!

Василий Иванович почесал шею, почмокал и задумался. И страшно было, и непонятно, а вместе с тем соблазнительно. Представил себе, насколько эффектно будет подписываться под будущими корреспонденциями в свою газету: «Василий Штучкин, соб. кор. на Луне». А тут еще вспомнилась ему хозяйка, угрожающая не впустить его, пока он не заплатит денег, вспомнился редактор, задерживающий плату, и... Штучкин не выдержал.

— Эх! Лечу!.. — грустно сказал он. — Если б не этого... как его?... кабы не хозяйка квартирная, не поехал бы ни за миллион. А вот ведь — лечу! Будь я... этого... будь я проклят, говорю, но лечу, как его?.. На Луну эту... Черт с ней!

И Василий Иванович горько заплакал пьяными слезами одинокого, бесприютного человека. Было уже поздно. Деревянный и Перевракин пили водку и что-то сосредоточенно высчитывали на обороте меню, сонный Коля клевал носом, сидя за буфетом, и в тишине ресторана слышались

только отрывистые восклицания Штучкина:

— Эх! Была — не была! Как его?... Лечу, говорю, и все! Что мне хозяйка? Я... я... плевал на нее... Этого... плевал... говорю... и того... я ее сам выселю, а не то что... как его?.. Она меня разными словами называла... а я вот, лечу!

II

Спустя месяц после описанной сцены, лихорадочное оживление царило во всем культурном мире: впервые было объявлено, что смелая попытка завязать сношения с Лунной будет скоро приведена в исполнение и что знаменитый изобретатель уже окончил все приготовления и проверки. Пассажирами своего снаряда он избрал наших трех друзей, несмотря на то, что еще много желающих продолжало присылать ему предложения своих услуг. Получив надлежащие бумаги, средства и указания, простившись с друзьями, Штучкин, Перевракин и Деревянный прибыли в Брюссель и явились к своему новому патрону. Тот встретил их весьма любезно и, спустя неделю, трое русских уже стали известны всем, кто хоть немного интересовался полетом. Упоенные выпавшей на их долю славой, они важно принимали поздравления и пожелания, которыми их засыпали со всех сторон. Тираж газеты «Разное время» возрос до баснословной цифры, портреты Штучкина и его друзей пестрили ежедневно страницы печати и к услугам трех русских стали сыпаться и деньги, и знакомства, и все, о чем они раньше и не мечтали. Правда, неожиданная перемена в судьбе была ими принята сначала немного недоверчиво. Василию Ивановичу все казалось, что дело обстоит гораздо проще: получили деньги, сели в снаряд и поехали. По дороге будут останавливаться на станциях, покупать открытки и писать на землю приветы с какой-нибудь звезды.

Наконец, окончились все приготовления и настал день полета. С раннего утра на громадном поле между Лувеном и Брюсселем собралась многотысячная толпа народа. Среди

сложных, невиданных машин, рычагов и целой сети канатов чернело в земле круглое отверстие, из которого должен был вылететь на Луну первый аппарат с Земли. Внутри этого снаряда, окруженные вещами и инструментами, уже сидели наши путешественники, готовые к отъезду. На стенках аппарата висели подробные таблицы и планы, точные объяснения всех способов управления во время полета, после прибытия и в обратном путешествии. Тут же красовалось расписание всех работ и исследований, которые надлежало произвести на месте. Отважные путешественники ни бельмеса не понимали ни в астрономии, ни в геологии, ни в механике и математике, но предупредительный Дельво снабдил их такими обстоятельными указаниями, что в них разобрался даже Петр Ефимович. Ну, а Перевракин, спустя минуту после посадки, уже заявил, что все это плевое дело и ерунда. Василий Иванович мысленно составлял уже будущие корреспонденции и проектировал издание на Луне своей газеты. Перевракин уговаривал приятелей прежде всего заняться пропагандой земной культуры и меновой торговлей, для чего вез с собой целый ящик старых почтовых марок и сигарных этикеток, считая их самыми ценными единицами обмена.

— Ты пойми! — убеждал он Штучкина, — пришел к тебе какой-нибудь лунатик, ты ему сейчас же марку в клюв: смотри, мол, и поучайся — и герб, и портрет, и разное прочее, одним словом, целая наука о государствах на Земле. Вот мы, так сказать, и будем их учить — какая есть Земля и как она делится!

— Того... этого... как же это ты с лунатиками разговаривать будешь? Насчет лунного изъяснения я, признаться, не того... как его?.. языка, говорю, не знаю!

— Тьфу! Плевое дело! Выучим! А главное, мимика. Мимика, это, брат, первое дело!

— Оно самое! — отозвался Деревянный. — Мимика — это вещь. Он тебе так, а ты ему — во! Раз плюнуть!

Василий Иванович задумчиво посмотрел на замысловатую жестикуляцию Деревянного и пожевал губами. Но, вид-

но червь сомнения не оставлял его в покое и он, после раздумья, снова заговорил.

— Как его?.. Это самое... насчет того... насчет женского пола, говорю, как же? Вроде как бы не этого?... Как же я там буду? А? Какого ж черта?!

Перевракин снисходительно похлопал его по колену.

— Не бойся, брат Вася, там, знаешь, такие водятся, что прямо первый сорт. Там, брат, все есть, всякое растение под Богом соответствует. Хе, хе!

Деревянный тоже ослабился:

— Луна, это не жук. Оно самое! Га!

И сейчас же, приняв серьезный вид, полез под диван и вытащил что-то, завернутое в газетную бумагу. После того, как газета была снята, перед глазами друзей появилась знакомая бутылка водки — «Русский витязь». Петр Ефимович торжественно заявил:

— Во! Провез через границы! Выпьем, братцы, может, в последний раз пьем уже! Ну, отъездную!

Штучкин подставил ему кружку, почмокал, поморщился, выпил водку и начал говорить.

— Вот я и говорю!.. Как его?.. На Луну, говорю, едем, а оно, конечно, этого!.. вроде как бы не того... необыкновенно, говорю.

Но закончить фразы ему не пришлось. В эту минуту погас свет, раздался страшный грохот, сильный толчок сбил в кучу и трех друзей, и их вещи — и первый воздушный поезд отправился в свое далекое путешествие.

III

*Телеграммы от соб. кор. на Луне в газете
«Разное время».*

Примечание редакции: «Судя по тону и смыслу сообщений, мы полагаем, что некоторые телеграммы посылались не г. Штучкиным, а его друзьями.

1) 20 авг. 19.. года: «Летим!».

2) 21 авг. 19.. года: «Летим! Как его?.. летим, говорю».

3) 22 авг. 19.. года: «Летим, но полагаю, что прилетаем».

4) 23 авг. 19.. года: «Все еще летим, как будто бы. Да туда ли нас выстрелили?»

5) 24 авг. 19.. года: «Прилетели, можно сказать. Темно, ничего не видно. А может быть, и не прилетели еще».

6) 3 сент. 19.. года: «По-прежнему темно, но погода хорошая, впрочем, ходим гулять, но вокруг одни горы и больше никоторого другого народонаселения не замечается. Плохо здесь, вот что! подлая страна!»

7) 5 сент. 19.. года: «Замечательная страна! Оно как будто и поганое, на червя смахивает, а смотришь, глаза есть и вроде как бы изъясняется! Только этого... Не того... больно непонятно. Перевракин, впрочем, говорит, что очень понятно и что народ ихний... лунатики, здорово понятливые. Оно нам так, а мы ему во! И руками побольше надо махать, здорово получается!»

8) 7 сент. 19.. года: «Понимаете, господин Дельво, газетное предприятие уже почти готово. В первом номере думаем пустить анонс насчет кабаре, которое устраивает Василий Иванович. Одним словом, работаем. Деревянный делает завтра публичную лекцию о цели нашего приезда. Уважаемый Петр Ефимович до того наострился в лунном наречии, что с нами говорить почти разучился. Только и говорит теперь «во!», а потом руками, и так это хорошо получается, что будто по писаному».

9) 13 сент. 19... года: «Друг Дельво, как его?.. насчет денег... Хозяйке-то моей посланы ли деньги, как я просил? А то, этого... покоя мне не дает, даже здесь во сне вижу, как она меня поперла, будь она... этого... будь она неладна, говорю».

10) 27 сент. 19.. года: «Очаровательное событие, изумительное достижение, оказывается.....»

На этом слове телеграмма неожиданно прервалась и, несмотря на усиленные вызовы, с Луны больше не было сведений почти три месяца. Только после отчаянных сигнала-

лов из Брюсселя, Дельво получил краткую телеграмму, даже не помеченную числом, принадлежавшую, вероятно, перу Петра Ефимовича. Телеграмма гласила: «Ну, чего пристал? Некогда!»

И, наконец, вся читающая публика была до последней степени удивлена и смущена, когда с Луны прилетели следующие слова:

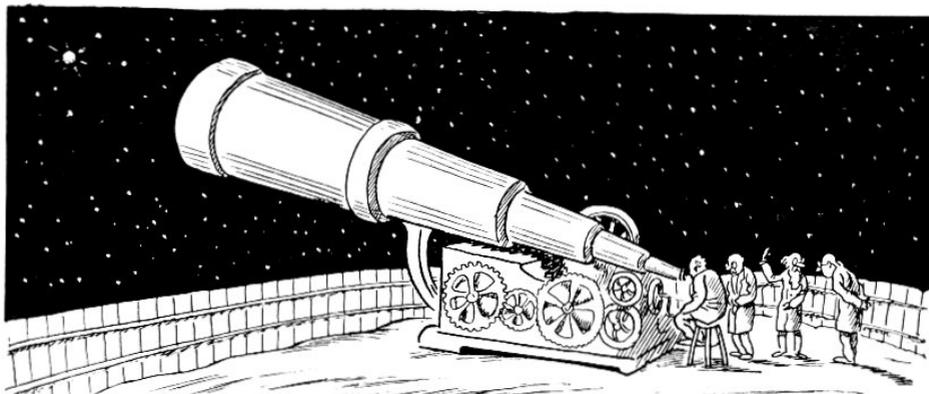
11) 5 января 19.. года: «Ты, как тебя?... Этого... слушай, Дельво! Чтoб, значит, в самое короткое время!... Одним словом, строй, братец, еще машинку, пускай летят сюда которые русские, насчет жизни здесь здорово того!... Так ты... этого... строй, братец, да поскорее, не то... как его? Одним словом, строй! Да посылай сюда земляков, русских посылай, мы здесь уже воцарились, можно сказать!»

Спустя минуту долетели еще несколько слов: «Ге! Ура! Живем и прочее! И на Землю сверху вниз смотрим. Во!»

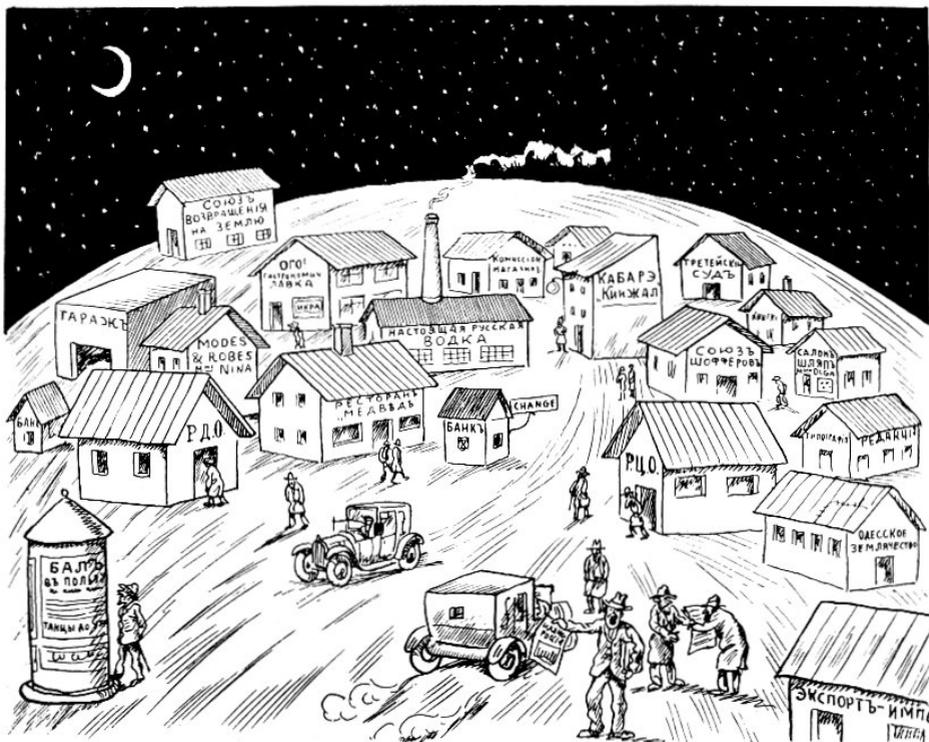
С этого дня знаменитый изобретатель, господин Дельво, стал жаловаться на усталость, разочарование в жизни и скоро тихо скончался. И с его смертью погибли таинственные планы летательной машины, потому что никто, кроме него, не мог разгадать ее системы и секрета конструкции. Больше ни одно слово не донеслось на землю с насмешливо ухмыляющейся Луны. Только иногда, в полнолуния, людям казалось, что складки и тени на Луне начинают сморщиваться в оскорбительную гримасу смеха и тогда астрономы обиженно бросали свои трубы и говорили, что стекла запотели и не видно ничего.

ОБИТАЕМЪ ЛИ МАРСЪ?

Рис. МАД'а для «Иллюстр. Россiи»



Надъ этимъ вопросомъ всегда задумываются астрономы. И когда имъ удастся построить телескопъ чудовишной силы они увидятъ...



...что Марсъ населенъ уже въ 1919 года.

А. Куприн

ПОСЛЕДНИЙ БУРЖУЙ



Последний буржуй

Рассказ А. И. КУПРИНА.
Иллюстрация худ. РЕМ'а.

Все, о чем здесь будет рассказано, случилось в декабре 1940-го года, в посаде Гатчино, находящемся в сорока верстах от бывшего Санкт-Петербурга, бывшего Петрограда и бывшего Ленинграда.

В то время С. С. С. Р., всегда шедший во главе всемирной революции, успел, раньше всех прочих стран, стряхнуть с себя гнусное бремя буржуазного кровавого насилия. Дружным последним натиском коммунистического фронта, в нем были начисто истреблены все представители прожорливой буржуазии, вместе с ее побегами и корнями. И только один-единственный буржуй во всей великой С. С. республике был пощажен и оставлен в живых. Это был, именно, Изот Макарыч Шишипторов, гатчинский мещанин.

Любопытствующие внуки наши могут спросить со справедливым изумлением: как же могло случиться такое странное, исключительное и как бы нелогичное недоразумение? Для удовлетворения этой пытливости молодых умов, мы рассказываем следующее, рассказываем как строгий факт:

Вышеупомянутый последний буржуй, будучи приведен в Ц. И. К. и поставлен перед глазами товарища Матвея

Кислого (мир урне с его прахом), уже трепетал за свою неизбежную участь по всей строгости высшей меры наказания. Но товарищ Кислый замедлил с решением, и все вокруг него безмолвствовали. После некоторого молчания, Матвей возвысил голос и сказал:

— Нет. Оставим его в живых. В Париже в зоологическом саду я видел однажды скелет допотопного ихтиозавра. Огромная скотина! Если бы она встала на задние лапы, то свободно могла бы обглаживать верхушку дерева высотой с Эйфелеву башню. Я смотрел, удивлялся и говорил себе: «Не может быть». Однако — факт. Совершенно реальный! Вот так же я и предлагаю сохранить этого буржуя живым и непопорченным для обозрения и назидания коммунистической молодежи и северно-полярным депутатам. В своем едином лице пусть он будет целым живым музеем. Знайте, что революции нет без пафоса, а наша революция перманентна, ибо кто прочтет, какие мысли гнездятся в голове граждан даже абсолютнейшей из республик? А без крика мести народной нет революции, и, следовательно, придет нам крышка, если не на кого будет нам этот гнев изливать. Итак: берите его и только лишь надзирайте, чтобы он не обзавелся потомками. А по смерти его, сделать из него говорящее чучело, со вращающимся механизмом. Слово мое навеки!

Вот и все о причинах мирного жития буржуя Шишипторова, после общей смерти наглой буржуазии. И потому, оставив в стороне величественный стиль летописи, мы переходим к упрощенному слогу устного пересказа.

* * *

И правда, жилось Изоту Макаровичу недурно. Священная память Матвея Кислого его охраняла, как броней из двойной ванадиевой стали. Соседи ему завидовали. Шел ему тройной паек с винцом. По декрету имел он право держать во дворе трех кур с лоншанским петухом, в доме — образа,

герань, канарейку и холощеного кота, а в огороде: березку, две грядки и куст крыжовника. Хотели было отобрать у него колоду разбухших засаленных карт, но Макарыч уперся, забурлил и... оставили. Да и мало того: власти знали, что последний буржуй сохранил старую привычку играть в «козла» с Прохором Парфентьичем, холодным сапожником, и Никифором, кладбищенским сторожем. Знали, но глядели сквозь пальцы, не препятствовали. Или еще лучше. Побил-



...Последний буржуй сохранил старую привычку играть в «козла» ...

ся Шишипторов однажды об заклад с сапожником (надо сказать правду, было это после стаканчика двойного псковского самогона), что напишет он в местный совдеп прошение о выдаче ему полбутылки рома, по случаю ревматизма в суставах, а то иначе он, по болезни, от своей должности отказывается навсегда, и ему выдают. И что вы думаете? Прислали ведь. И даже в сопровождении бумаги: в последний, де, раз, и дальше... непотребные слова.

А должность его состояла вот в чем:

По особым торжественным дням, юбилейным и прочим, приезжали в Гатчино во многих поездах пламенные комсомольцы, знатные иностранцы и представители экзотических республик: карелы, вогулы, тунгузы, чичимеки, зыряне, ботохуды, лапландцы, головотяпы, эскимосы, рукосуи, чудь, весь, бардадымы, туареги и др. ... Все они стройными

рядами, под звуки интернационала, проходили мимо хибарки последнего буржуя, издавая яростными криками слова святой мести народной: «Долой! Долой! Позор! Позор! Смерть буржуям! Смерть. Оплевать буржуя! Разрушить его дворцы до основания и сравнять их с землею!» Но спасибо



... Всё они стройными рядами, под звуки «Интернационала» проходили мимо хибарки последнего буржуя...

бдительной милиции, если не честь, то во всяком случае жизнь и имущество Изота Макарыча оставались неприкосновенными. Однажды, правда, пылкие курды не воздержались и разбили стекла. Но на другой же день пришел от совдепа стекольщик и починил рамы на счет республики.

Это ли не жизнь? Повторяю, соседи ворчали иногда: это чего же легче: ни шилом, ни топором, а ест кашу с молоком.

Но были, были, как видно, у Шишипторова свои угрызения и душевные тягости. С течением времени стал он все крепче скучать и дольше призадумываться, а в конце 40-го года совсем впал в мрачность.

Вот в таком-то прогорклом настроении он и пришел однажды к своему другу-сапожнику. Была середина декабря. Сапожник обрадовался.

— Ах, миляга, сколько лет, сколько зим! Значит, играем в «козла»? Я сейчас мальчонку за Никифором пошлю. Он духом слетает.

Но Изот Макарыч отказался. Впервые в жизни.

— Друг, не до «козла» мне. И вообще не до чего. Есть у меня к тебе огромная просьба. Ты человек весьма грамотный и политический, а, как сапожник, подвержен философии. Напиши мне прошение в самый главный ЦИК, главнее которого нет. Не желаю больше служить в буржуях. Вот по горло, по сие место опротивело. Слагаю с себя!

Сапожник стал его образумливать: «Да дурак ты, Макарыч! Да какого тебе хрена еще надо? Живешь, как в раю зеленом... Не глупи, старикан».

Ничего не помогло. Твердит Шишипторов одно лишь: слагаю, да слагаю.

Говорит:

— Вот у нас за Пижмой пустошь была, снимало ее общество свободной охоты. Ну, потом они всех зайцев перестреляли. Остался всего один русак. Тогда порешили его не стрелять до смерти, а только так, баловаться, чтобы правильная охота все-таки не прекратилась. Вот и палили ему бекасинником в мягкие места, преимущественно же в зад, а он все жил и жил. Потом уже его мальчишки поймали. Не мог заяц ходить. Мелкой дробы в нем оказалось пятнадцать фунтов... Словом, не хочю быть таким последним зайцем. Слагаю.

— Да подумай ты, дурашка...

— Думал уже. Целый год размышлял. Будет. Слагаю и никаких! И уж если ты нашу старую дружбу ценишь хоть в копейку...

— Да ладно, не плачь. Напишу.



...Написали они бумагу... Очень сильную...

— Так и напиши: Желаю, мол, поступить в беспартийные, или в сочувствующие, или хоть в «комсомол», а так больше не желаю. Какое мое положение? Точно шут, или вроде, как палач. Или вот еще на балаганах бывает деревянный турка, лупят его для измерения силы кулаком по башке. Да ты только пойми мою обиду-то, Прохор Порфирч. Человек ведь я!

— Ладно уж, ладно, будь по-твоему.

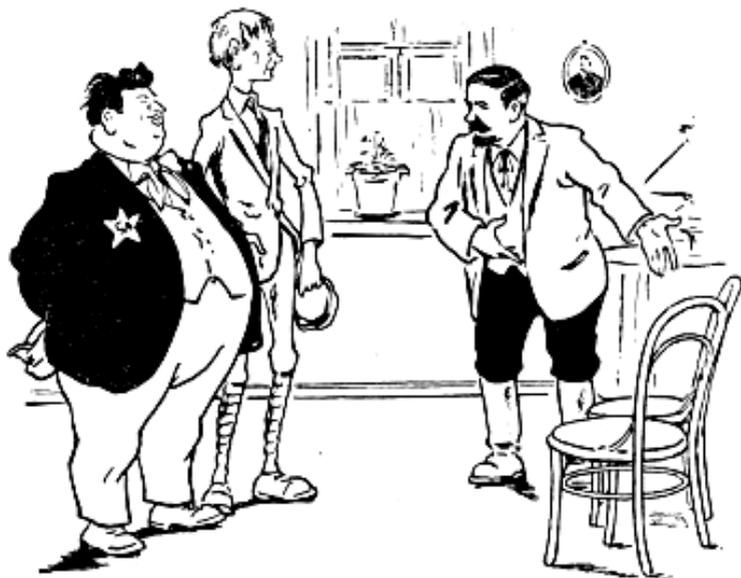
Написали они бумагу. Очень сильную. И про турка, и про зайца и про шута с палачом. В тот же день и в почтовый ящик опустили. Без отступления.

Бумаги-то в славнейшей из республик известно как ходят: месяцами и годами — куда нам спешить, живучи в планетарном масштабе? А эта подействовала через день вроде слабительного жостера: так густо была она мудрым сапожником написана.

Под вечер сходил Шишипторов в баньку, попарился с горя, а пришел домой, зажег лампадку перед образом и стал тешить душу чайком с крыжовенным варением. Как вдруг зашипело и запыхтело у ворот, просияли сквозь тьму два золотых глаза и дважды отвратительно рявкнул автомобильный ревун. Затем постучали в дверь и появились два гостя.

Они в крошечной передней сняли свои шубы и вошли в горницу. Первый был в сером широком балахоне, длинный, длиннорукий, длинноногий и весь ломкий. Когда он

вставал, то казалось, что это распрямляется и опять складывается деревянный аршин на шарнирах. Другой очень походил на провинциального баритона: толстый, бритый, жирный, с масляными черными глазами, с красными большими губами, с оранжевым галстуком-бантом.



— Прощу, сказал Шишипторовъ, показывая на стулья.
— чайку может быть?

— Прощу, — сказал неуверенно Шишипторов, показывая на стулья. — Чайку, может быть?

— Мы только на минутку, — сказал складной, протирая пропотевшие роговые очки. — Скажите, товарищ буржуй, что это вы за бунт такой делаете? Признаюсь, мы все встревожены.

— Да, помилуйте, да я, — залепетал смущенный Изот Макарыч. — Но, действительно мое положение... И вообще... Вообще, слагаю с себя... не могу-с...

Складной рассердился.

— И ничего вы с себя не сложите. Это вздор. Вы неблагодарны. Вы забыли милость, так великодушно дарованную вам товарищем Кислым. Вы не цените того, что вам, единственному оставшемуся в живых буржую, предоставлено, кроме жизни, высокое и почтенное положение. Говорю вам, открывая наши карты: без вас в положении последнего буржуя, нам негде больше найти места, где мы могли бы издавать крик мести народной. Поймите же ваш долг перед величайшей из революций мира. Или, может быть, вы чем-нибудь недовольны на нас? Прошу высказаться откровенно. Изложите ваши требования, вот, моему товарищу.

— Да я... да мне...

Но тут к нему подсел, вместе со стулом, актер и нежно обнял его за спину.

— Дорогой товарищ буржуй! — начал он сладким густым, попорченным баритоном. — Ну, чего вы хотите? Скажите, вкуснячка, по душе, по совести. Домик попросторнее? Да мы вам, голуба, сейчас любую дачку очистим. Паек лишний требуется? С нашим удовольствием, дорогуля, по высшей квалификации. Винца? Пожалуйста, хоть залейтесь, любезняк, императорских погребов! А если, сердцевиночка вы моя, потянуло вас на женский пол, — сделайте милость, хоть церковным окрутим с кем угодно, в четверть секунды. У нас, душоночек наш абрикосовый, это без затруднения. Да и к чему подробности! Просто скажите ваше любое, самое фантастическое желание — и мигом! Ну же, нежноночек. Ну!

Смотрел на него изумленный Шишипторов мутными глазами, как бык, ошарашенный ударом по темени. И вдруг, неожиданно для самого себя, промычал:

— Мне бы... елку... на Рождество. Елку... как прежде у генералов...

Актер вскочил.

— Только-то? Мы-то думали, что вы черт знает чего захотите. Елку? Готово! Как в сказке тысяча и одной ночи. Ейн, цвей, дрей — готово! Адыю, карамелька моя сладострастная. Адыю.

Складной выпрямил постепенно все свои суставы и откланялся. Оба вышли.

Прошло три дня. 24-го декабря вечером, когда уже смеркалось и снег за окном стал сине-фиолетовым, опять раздалось у ворот свирепое бляение разъяренного автомобиля.

Вошли два приличные юноши, в военной форме, но без оружия и сказали вежливо:

— Пожалуйте.

Шишипторов, молча, пошел за ними. Они отвезли его в местный совдеп и оставили там. Ничего дурного в совдепе Изоту Макарычу не чинили. Там сидели и валялись на скамьях все свои, знакомые, гатчинские. Они, не переставая, курили, плевали на пол и вяло говорили скучную похабщину. На Шишипторова посматривали с какими-то ленивыми, но загадочными улыбочками. Через два часа опять зарычал на улице тот же автомобиль-ревяка. Вошли вежливые юноши и опять сказали: «Пожалуйте». Подъезжая к своему дому, Шишипторов увидел, что сквозь стволы березок, отяжеленных снежными шапками, горят волшебным теплым светом оба его окна. Но он не испытал ни удивления, ни удовольствия. Он вошел в комнату. Посредине ее сверкала огнями прекрасная елка. Вся она была унижена золотым и серебряным убранством, цепями, орехами, дождем. На крайних ветках раскачивались плакаты: «Долой!», «Позор!», «До конца!», «Фронт». А на верхушке были прицеплены сверкающие игрушечные ружья, гильотины и виселицы. Шишипторов остановился с расставленными врозь ногами, с тяжко опущенной головой.

Из-за занавески вышли недавние гости. Складной и актер. Актер только размахнул руками, точно хотел заключить последнего буржуя в свои широкие объятия. Но Изот Макарыч дико попятился назад, вдруг весь засиял широкой идиотской улыбкой и запел пронзительно:

— Гуляля, труляля, пе-ту-ха!

— Вкуснечка! Что с вами?

Последний буржуй бессмысленно хохотал, пуская ртом пузыри.



А. Куприн

ЗАКЛЯТИЕ

Вот какую сказку рассказала мне однажды цыганка Ириша Федорова на рассвете московского утра. Я передаю ее со всей ее первобытностью и неправильностью выражений.

* * *

Как-то цыгане были в таборе. Потом влюбился один цыган в цыганочку. И вот, родные не отдавали за него эту цыганочку. Он был от нее верст за триста, и она не знала, что он умер. Но он умер не своей смертью, а отравился, потому что цыгане из того рода, которые любят или умирают.

В старину мертвые ходили без заклинания.

— Что же делали они?

— Ужинали. Приходили в дом и ужинали. Им оставляли пищу — когда хозяева поужинают, то оставляют пищу мертвецам. Они входят, как только «светло» затушат, входят и ужинают.

— Страшно было?

— Конечно, страшно. Потом ничего — привыкли.

И вот этот мертвый цыган однажды приехал к этой цыганочке и говорит:

— Ну, слушай, ты хочешь за меня замуж идти?

Она говорит:

— Хочу.

— Но ведь я мертвый уже!..

— Неужели ты умер? А отчего ты умер?

— Я отравился, потому что не мог жить без тебя. Я видал красивых невест и богатых невест... Но, если бы ты была одета в мэлалэ (рубище), я тебя так же любил бы...

Потом она собирает свои платья, в узел вяжет, а он ждет. Говорит: «Поскорей». Спешит, чтобы полночь не подошла.

Потом она связала все свое платье в узел, повязала на шею кораллы, села с ним верхом впереди на лошади и уехала. Но раньше она предложила ему: «Миро дорого (мой милый), я тебе приготовила яичницу. Может быть, ты поешь?»

Но он стал, точно собака, на четвереньки, фыркнул, но есть не стал.

Отъехали они четверть дороги, он и говорит: «Ах, как смешно, — мертвый живую провожает».

Она спрашивает: «Что ты говоришь? Мне это страшно».

А он: «Ничего. Это я так себе».

Проехали дальше. Он опять говорит: «Ах, как удивительно, — мертвый живую провожает».

Она говорит: «Почему ты так говоришь? Мне очень страшно!»

Три раза он сказал так, вдруг показывается церковь, и там могильники, калитник (кладбище). Потом приезжают туда. Могила его открыта. Он, мертвяк, говорит: «Полезай туда».

А она вдруг догадалась. Так что не полезла и говорит ему: «Полезай ты. Ты там лучше знаешь в своем помещении, а я буду тебе вещи подавать».

Потом она развязала узел, вынула вещи, все ему кидала, так что выжидала время, когда прокричат петухи. Она кидала, все кидала. Сначала узел развязала и платок бросила. Потом стала платью верхнее снимать, потом юбку. Осталась в одной рубашке. Потом кораллы стала отвязывать: когда отвяжет, опять завяжет, отвяжет и завяжет. Все время повторяет.

А мертвец все время говорит: «Что ты так долго?». Он спешит, потому что знает время петуха. Так он говорит: «Скорее!».

Она говорит: «Миленький мой, знаешь, когда я собиралась с тобой, то я так боялась своих родных, чтобы они не услышали, что я хочу с тобой уехать, то так я туго завязала коралловое ожерелье, что не могу развязать».

Она это делала, чтобы скорее время прошло. Потом, когда она кораллы бросила, осталась в одной рубашке (она же время провождает), а он там укладывает в могиле, стелет, чтобы им было помягче спать. «Скорее!» — говорит он опять.

А она в одной рубашке осталась. Время совсем мало было. Она разорвала рубашку, бросила один кусок рубашки, потом второй. Когда бросила третий, уже могила закры-

лась — петухи прокричали.

Потом она осталась голая. Что ей делать?

В табор пойти нельзя — светло будет. Так что она вздумала взойти на колокольню, где звонят. Взошла туда и стала звонить она.

Когда сторож проснулся, собрал много народа, потом батюшку позвали. Батюшка, когда приходит, говорит: «Дам заклатье ей. Если некрещеная душа, то “сгинь, пропади”, если же крещеная, то “окажись”»!

Она сказала: «Батюшка, я крещеная, только не могу к вам сойти».

А батюшка говорит: «Почему?»

«А потому, что я голая».

Вдруг батюшка снимает свою ризу и подает ей туда, и она одевается и слезает вниз.

Когда спустилась, начала батюшке рассказывать все, что с ней было. Тут собрались мужчины. Батюшка так не поверил, а потом узнал, что он ее крестил, и поверил.

Потом разрыли могилу. Когда она раскрылась, то не запечатленный покойник лежал, не успев повернуться набок — он лежал ничком на четвереньках.

Когда посмотрели, — правда, платья там.

И сказал ей батюшка:

«Отойди от могилы на 40 сажен».

Она, конечно, не письменная и не знала, сколько сажен отошла, — так что не очень далеко отошла. Когда осино-вый кол стали вколачивать в спину, вбивать, покойник завизжал. А кровь в нее брызнула! Три дня не выжила она после этого и умерла.

С тех пор стали делать заклатье: когда покойника понесут в калитник, тогда батюшка делает заклатье, потому что они все заклатье и запечатанные. Если бы не были заклатье, то они ходили бы и обманывали народ.

— А если он любил ее при жизни?

— Мало ли, что любил, а мертвый, когда умер, зачем же? У него ведь проклятая душа!

— Что же? Заклинают и самоубийц?

— Нет, самоубийц не заклиняют, а проклиняют, потому что самое страшное преступление перед Господом — лишить себя жизни, и перед Ним убийца, вор и богохульник гораздо белее...

И вот с тех пор, как говорят старики, начали заклинять и запечатывать мертвецов, и с тех пор больше они не приходят в избы и не живут человеческой жизнью.

А. Куприн

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК

Рождественский рассказ

— Станция Волчья! Поезд стоит пять минут! — закричал кто-то внизу, под окном, быстро проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона.

Была декабрьская ночь — тихая, светлая и не холодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром.

Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трохыма Щербатого, всегда выезжавшего за мною на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ремненным батоном в руке, он стоял посреди платформы, широко расставя ноги, и глядел, раскрывши рот, на освещенные окна вагонов. Я окликнул его.

— А! Здорово, паньчу. Гай богу!* — прокричал Трохым обычное полесское приветствие и, на ходу, дотронулся рукою до верха своей шапки.— А я вас по тех вагонах шукал. Ну что же? будем ехать, паньч? Бо кони застоялись.

— Поедем. А как дорога по лесу?

— Дорога ничего. Добрая дорога. Трошки только снегом позамело, да я добре протропил ее. Позвольте-ка, паньчу, ваш чумардан.

Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, возвышался круглый палисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне, две гнедые лошади Трохыма, маленькие, пузатые, шершавые и сердитые «муцики», ели сечку, низко опустив косматые головы в рядно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши.

Мы уселись. Трохым зачмокал и задергал вожжами, высоко подымая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой, но веселой и согласной рысцой. Трохым не погонял их, берег: до «Казимирки» нам предстояло сделать, обратным

* Помогай Богом! (Здесь и далее прим. автора).

путем, двадцать с лишним верст. Время от времени — и то больше по привычке — он ободрял их странными туземными восклицаниями: «Хаття вы! хаття ну! виштя кагатя! Оту ни! Виштя вье!» и так далее...

Сейчас же за станцией пошел лес, огромный казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знаменитой Беловежской пуши. Узкая дорожка вилась между двумя стенами вековых гигантских сосен такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные полесские лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенного молодым месяцем, и видно было, как в этом далеком просвете с необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков.

Сани беззвучно скользили по свежей, нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны-сосны протягивали через дорогу, точно белые руки, свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок срывался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом.

Вытянув ноги на сене, плотно покрывшем дно саней, и привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза, и непременно через несколько минут мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман, так живо всегда переносящий меня в область воспоминаний детства, но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная колоннада могучих темных стволов, передо мною рисовалась все та же неподвижная спина Трохыма, сидевшего боком на каком-то мешке, а впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круп левой лошади. Тихая лень, без мыслей, без ощущений, понемногу охватывала меня.

Кажется, я задремал, потому что внезапно, вдруг почувствовал себя бодрствующим и встревоженным каким-то странным звуком, похожим па завывание ветра в печной трубе. Я прислушался. Казалось, в страшном отдалении, на самом краю света, кто-то стонал и плакал на весь лес. Этот плач начинался очень низко и жалобно, восходил вверх непрерывными печальными полутонами, задерживался долго на высокой унылой ноте и вдруг обрывался невыразимо тоскливым рыданием.

— Никак, волки, Трохым? — спросил я.

— А волки,— подтвердил спокойно Щербатый. — Теперь их в лесу богато. Свадьбы свои играют. Но-о-о вы, малы! Злякались? Не буйсь! — окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая начинала артачиться и жалась к дышлу...

— А може, это и не волк трубит, а вовкулак*, — заговорил вдруг Трохым после долгого молчания, в продолжение которого я беспокойно прислушивался к далекому вою.

— Вовкулак?

— Ну да, вовкулак. Бывают, чуєте, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой погани богацько. Там за разных водяных и лесных чертяках, за видьм и за видьмаков, я не знаю, чи тому правда, чи ни. Може, одни бабьи сплетки. А вовкулаки у нас водятся — то правда.

Трохым еще раз крикнул на лошадей, повернул ко мне темное лицо с белыми от мороза усами и повторил, понижая голос:

— Это самая истинная правда. Я вам скажу, паныч, что даже у нас в Казимирке один раз такое трапилось, Вы ведь знаете Омельчука? Ивана Омельчука, что сейчас возле гребли сидит?*

— Знаю. Так что же он? — спросил я, и в моей памяти встала, как живая, приземистая, сутуловатая фигура седого старика с печально-суровыми недоверчивыми глазами, глядящими исподлобья на изрытом оспой лице.

* Вурдалак, упырь.

** Живет.

— Он — ничего. А вот его батьки старший брат, Омельчуку, значит, дядька — тот был настоящим вовкулаком. Это все в Казимирке знают, хоть кого хотите спытайте. Старики — те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком. Значит — правда. Да вы лучше послушайте, что я расскажу вам.

И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую вероятную быль ближайших лет.

Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. Двадцать лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский.

* * *

У старого Омельчука было два сына: Стецько и Назар. Назар — младший сын — был хлопец, как и все хлопцы; ничего о нем ни особенно хорошего, ни дурного не было слышно. Другое дело старший, Стецько. Вся молодежь считала его за казака и своего атамана. Даже старики говорили, что уж на что в их времена народ был красивее, удалее и крепче, чем теперь (известно: старикам всегда кажется, что в их время все лучше было), а такого ловкого, статного и веселого хлопца, как Стецько, даже и они на своем веку не припомнят. Выйдет ли народ на работу — Стецько впереди всех. Первым придет в поле, последним уйдет. Косит, пашет, боронит, рубит, пилит так, что четверым за ним не угнаться. А когда наступала страдная летняя пора, то, бывало, он, не покидая поля и не спя, четыре зари встречал. — Такой был жадный на работу.

А вечером, глядишь, он уже и на «досвитках» первый смеется и балагурит до самого утра и такие выкомаривает штучки, что другие, на него глядя, только за животы хватаются. Дивчата к нему льнули, как мухи к меду, и — что греха

таить — не одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на Стецькову красоту, на карие его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом — не хлопец был, а орел.

Умел он и в беседе со стариками сказать умное слово почтительно и кстати. И на клиросе пел по праздникам, и с начальством знал, как обращаться. А в ту пору ведь известно, какое было начальство. У него разговоры были короткие: «Правда твоя, человиче, правда, а не хочешь платить — так снимай штанцы и ложись».

Одно слово: был Стецько первый любимец во всей деревне.

Да вот беда: дошла до Стецька «очередь», забрили ему лоб и угнали в москали. Все село плакало, когда его провожали. А он ничего: пошел веселый такой, светлый. «Что вы, — говорит, — надо мною, как над покойником, плачете? Нигде ваш Стецько не пропадет: ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет».

Далеко его угнали, куда-то в самые расказацкие губернии. Однако в скором времени от него письмо пришло. Писал он, что живется ему хорошо, товарищи его любят, начальство не обижает, а если и бьют, то не сильно и самую малость, потому что без боя на военной службе никак невозможно. Потом писал он еще раз и говорил, что назначили его в полковой церкви за псаломщика. А там и совсем перестал писать, потому что тогда началась у нас большая война с турками.

Прошло с того времени полтора года. О Стецьке ни слуха, ни весточки; так все и думали, что либо в плен его забрали, либо убили в каком-нибудь сражении. Как вдруг осенью, точно снег на голову, явился сам Стецько. Черный, худой, как смерть, правая рука на перевязи и на левую ногу хромает. Оказывается, отпустили его в бессрочную, отпустили с медалью и с двумя турецкими пулями в теле, под кожей. Да денег с собой принес он сотни четыре с «гаком», говорил, что накопил на службе. Да еще: выучился говорить по-басурмански.

Но явился он совсем не таким, как пошел в солдаты; как будто бы его там, на войне, подменили: ни смеха, ни шутки, ни песни. Сидит целый день, как старик, на присьбе*, опустив очи в землю, и все думает, думает... Заговорят с ним — он отвечает, только неохотно так, еле-еле, и сам в глаза не смотрит, а смотрит куда-то перед собою, точно что-то впереди себя разглядывает...

Увидел старый Омельчук, что его сын сумуется, поговорил со своей старухой, посоветовался с попом и решил женить Стецька. Известно: у женатого человека и мысли совсем другие на уме, чем у холостого; некогда о пустом думать. Но Стецько, когда только услышал о свадьбе, так и уперся — «як не наче той вул»: не хочу, не хочу, и кончено. Отец уж и просил, и молил, и грозился — ничего не помогает. Наконец старая мать стала перед сыном на колени. «Не встану, — говорит, — до тех нор, пока ты не дашь согласия; не буду ни есть, ни пить и с места этого не сойду до самой смерти...» Не мог перенести Стецько материнского горя. «Добре,— сказал он,— жените меня, если вам уж так не терпится. Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаяться».

И женили Стецька. На рождество свадьбу играли. Все село заметило, что в церкви Стецько стоял хмурый, как ночь, ни одного раза лба не перекрестил и с невестою не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой, совсем темный, что глядеть на него тошно было, и ни с кем не разговаривал.

По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвести с песнями молодых в особую каморку, как на всем свете у добрых людей делается, но Стецько сказал им: «Оставьте в покое и меня и жену. Это не ваше дело». Стали было хлопцы над ним слегка подсмеиваться, но он вдруг как заскрипит зубами и так глазами на них сверкнул, что у них сразу отшибло всякую охоту к забавным шуткам.

* Завалинка.

Прошло после женитьбы недели две, а Стецько — все такой же: на жену даже и не смотрит, как будто бы ее совсем в хате нет.

А жена у него была красивая и молодая, взятая из богатого дома. Звали ее Грипой. Долго терпела красавица Грипа, никому не говорила, наконец не выдержала, пришла к своей матери, заплакала и стала жаловаться на мужа. Не так ей было обидно, что муж ни спать, ни говорить с ней не хотел, а то, что каждый день около полуночи уходит он из дома и возвращается назад только к раннему утру. Бог его знает, что он в эти ночные часы делает и с кем время проводит.

Мать Грипы, конечно, об этом рассказала старому Омельчуку. Сильно огорчился старик. Страм-то какой! «Но нет! Постой! — думает. — Выслежу я Стецьковы штучки и выведу их на чистую воду. Это, может быть, у москалей или у басурман такой порядок есть, чтобы от жен молодых бегать по ночам, а я такой глупости ему не позволю».

В ту же ночь пробрался он потихоньку в огород и притаился в шалаше. Ночь была светлая, месячная, и мороз стоял такой, что деревья трещали. Ждал Омельчук около часа, совсем промерз старик и уже хотел назад в хату идти. «Этих чертовых баб, — думает, — как послушаешься — всегда в дурнях будешь». Только вдруг слышит он — заскрипела дверь в хате. Обернулся, крадучись, и видит, что вышел на двор его сын, Стецько.

Постоял Стецько на дворе, поглядел на месяц, оглянулся вокруг, а сам такой белый, как бумага, и очи горят, точно две свечки. Страшно стало Омельчуку. Зажмурил он глаза и прижался изо всех сил к глинобитной стене. Но так как он был все-таки человек смелый, то решился, наконец, опять открыть глаза. Смотрит — нет уже на дворе Стецька, а из ворот на улицу выбегает огромный белый, весь точно серебряный, волк.

Все тогда понял старик, и уж тут его, вместо страха, такое зло разобрало, что, недолго думая, выдернул он из тына здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вурдалаком-оборотнем.

Бежит белый волк по улице. Перебежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, ну точь-в-точь как Стецько. Скоро его Омельчук совсем из виду потерял, но месяц в эту ночь светил так ярко, что следы на снегу лежали, как отпечатанные, и по ним старик бежал все дальше и дальше.

Вдруг слышит он: впереди его, в лесу, волк затрубил, да так затрубил, что с деревьев иней посыпался. И в ту же минуту со всех концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов. А старика только еще больше злоба одолевает. «Будь что будет, — думает, — я об его проклятую спину весь дрючок измочалю».

Пришел наконец Омельчук на большую поляну и видит: стоит посередине большой бело-серебристый волк, а к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластятся к нему, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, поднявши острые морды кверху.

Смотрит старик и глаз отвести не в силах. Вдруг где-то далеко по дороге колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, уши торчмя поставили, а сами в ту сторону морды повернули, откуда звонок... Но послушали, послушали немного и опять принялись играть вокруг старшего — белого. Кусают снег, прыгают один через другого, рычат, а шерсть у них на месяце так и переливается и зубы блестят, как сахар...

Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой стороны, и опять поднялася вся стая. Прислушались волки на минутку и ринулись все сразу, как один, понесли по лесу и пропали.

Недолго ждал старый Омельчук. Услышал он вскоре, как вдруг забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик, — понесли, должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разлетелся, такой страшный и жалкий крик, что у Омельчука сердце обмерло и упало от ужаса. Потом где-то близко на «шляху» раздался бешеный топот, и долго было слышно, как на раскатах разбитые в щеп-

ки сани колотились о сосновые корневища.

Зарыдал бедный старик, что было духу побежал назад и всю дорогу, не переставая, крестился.

Сам он не помнил никогда, как бежал лесом, как попал в село и как добрался до своей родной хаты. Поставил он уже ногу на перелаз и весь задрожал: стоит у ворот Стецько. Смотрит батьке прямо в очи и дышит, как запаренный: видно, что от бега запыхался. Ничего ему отец не сказал и уже поставил ногу через перелазок, как вдруг Стецько сам заговорил:

— Постой, батька. Ты думаешь, я не знаю, что ты за мною следом бегал! Ну, так поди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если бы не я — разорвали бы тебя на мелкие кусочки и умер бы ты без покаяния.

Стоит Омельчук на перелазе, очей от сына отвести не может, а тот дальше говорит:

— Сегодня ночью, под сочельник, большая власть дана нам, вовкулакам, над людьми и зверями. Только тех мы не смеем трогать, кто в эту ночь не своею волей из дому вышел. Вот потому-то ты так удивился, что мы первого проезжего не тронули: его хозяин по делу послал. А второй был купец. Ехал по своей корысти, торопился на ярмарку... Толстый был, как кабан. Мясистый. Жирный...

И блеснул глазами, как красными огнями. А старику вдруг показалось, что рот и усы Стецька густо вымазаны красной кровью.

Взмахнул он дрючком, но не попал, промахнулся. Стецько же сразу исчез, как будто его и не бывало. Только голос его как бы из-под земли слышался, тихий и печальный:

— Не сердись, отец. Больше не приду в наши края никогда. И поверь: чья душа проклята свыше — нелегко ему на свете жить.

К. Коровин

БОЛОТО

В августе месяце приехали ко мне в деревню, где был у меня деревянный дом и сад, далеко от Москвы и от станции, мои друзья на охоту. Место глухое, кругом все леса.

Друзья решили звать меня на охоту еще дальше, на Берендеево болото. Привезли с собой большую карту и разложили ее на столе. Павел Александрович страстный охотник и человек серьезный, — шуток не любил, — привез он с собой еще и большой компас, чтоб не заблудиться. — Берендеевы болота — огромные и на карте прямо пустое место — все в ровных черточках. С краю есть, кое-где указаны селения, но мало: Пундога, Паной, Рявка, Гаврилово. Приятели смотрят на карту и по компасу сверяют направление.

— Место-то там непроходимое, — говорит охотник Герасим Дементьевич, крестьянин, мой приятель. — Я бывал там. И что? Топь и топь. Ну, может, дальше и всякое есть, только как пройти. Не заплутать бы... Бывает это там, эдакое-то...

— Какая чушь! — возражал Павел Александрович. — У меня компас. Английский. Ехать отсюда нужно на Рявку или на Гаврилово. С компасом не заблудимся.

— Рявку не знаю, — ответил Герасим. — Надо на Овсурово ехать, а там недалеко до болота. А Гаврилово под Ростовом, там и охоты-то никакой нет.

— В таком болоте дичи масса, наверно, — говорят приятели, глядя на карту.

— Может статья. Болото велико, но летом непроходимо, и невесть куда оно идет. Лосей много. Да и всего есть, да взять-то как?

— Это же морской компас у вас, — говорит приятель мой, архитектор Василий Сергеевич. — Как же по нему по земле ходить?

— Какой вздор! — серьезно заметил гофмейстер.

Приятель Павел Александрович, высоко подняв черные брови, тоже сердито сказал:

— Ну, довольно, довольно этих шуток и пошлостей.

Долго собирались охотники. Разбирали патроны, захватили пули, штуцер, потом длинное ружье на уток. Наконец собрались и поехали. Дорогой остановились еще раз прове-

ритель направление. Почему-то по компасу выходило, что едем не туда. Но возчики и Герасим, смеясь, уговаривали:

— Верно едем, на Овсурово, к Берендеевым болотам.

Был чудный осенний день. Весело светились дали. Сжатые пашни и леса ярко горели осенним убором листвы. У ложбинки болота собаки спугнули уток, а вдали показалось большое Вашутино озеро.

— Стой! — приказал Павел Александрович.

Все вылезли. Гофмейстер вынул карту. На озеро смотрели в большой морской бинокль, положили компас на карту и были в недоумении: на карте озера нет, не указано.

— Да. Странно... — сказал Сучков. — Не туда едем.

— Но это не болото, — серьезно заметил гофмейстер. — Что же вы хотите от карты?

На самом деле Берендеево болото, к которому мы подъехали, оказалось совсем не болотом, а ольховым низкорослым лесом. Лес этот растет на кочках, и между кочками — вязкая топь.

Мы бодро пошли, прыгая с кочки на кочку, придерживаясь за деревья, все дальше и дальше. Вдруг увидели, что кочки и деревья как-то гнутся и уходят из-под ног в жидкую кругом трясику. Павел Александрович провалился по пояс первый. Я смотрю — кочки уходят из-под ног. Хотел прыгнуть на другую, к корням дерева, и увяз...

Гофмейстер кричал: «Сюда, поскорей!» Герасим подавал ему сломанную олешину, и с архитектором тащили его за руки, упираясь в кочку у большой орешины. Тина, какая-то желтая сметана, резко выделялась на зеленом охотничьем костюме гофмейстера.

— Назад идем! — кричал гофмейстер.

— Куда иттить? — с хитрецей спрашивал Герасим.

— Где компас? — кричал кто-то.

— К черту компас! — орал Василь Сергеевич. — Благодарю вас, хорошенькое болотце нашли.

— Верно, — говорит Герасим. — Пропадешь. Говорил же, — какая тут охота!..

Когда выбрались из болота, то с горки было видно — далеко, до самого горизонта, синела эта ольховая заросль...

Гофмейстер смотрел испуганно серыми глазами, весь в тине, на веках светлыми пятнами засохла грязь. Я вспомнил, что как-то видел в музеях восковые фигуры, на которых от времени треснул воск и из вставленных глаз кругом торчала вата... Выражение у него было такое же.

Тут еще, ко всеобщему горю, заморосил дождик. Озябшие, мокрые, мы решили ехать до ближайшей деревни, в Пундогу или Рявку.

— Эдаких тут и нету, — сказал Герасим.

— Как нету? — возмутился Сучков.

— Полноте, Павел Лександрыч, этак по колпасу никак нельзя. Поедем на Овсурово, к Барану, тут недалече.

Охотник Семен, по прозвищу Баран, принял нас с радостью.

— Э-эка, — сказал, — как наохотились, видать, что досыта! — И его веселые глаза смеялись.

Чтобы согреть нас, он затопил печь хворостом. На столе появились все закуски, захваченные из Москвы друзьями: коньяк, водка, колбасы, сардинки. Хозяин подал на стол лосиную солонину...

— Эк, — говорил он, — куда зашли! Нешто возможно. Хорошо, что так, а то здесь по болоту и в упокойники недолго. Знать, в топь ушли...

Охотники, выпив и закусив, пришли в себя. Разговорились о неудаче.

— А, наверное, все-таки в таком болоте дичи много. И даже — неизвестной.

— И чего ее есть! — подтвердил хозяин Баран. — Всякая есть. Лосей много. А еще больше — чертей болотных. Сам видал.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер.

— Нет, барин, есть. Заведет, и прощай. Я знаю болота эти. Это я по зиме обхаживал, бывал в них, знаю. Лосей бивал немало. А вот на днях пошел краем, и завело...

Павел Александрович достал карту и спросил хозяина о селениях Няндомы, Пундога, Рявка.

— Не слыхивал, — ответил хозяин, — эдаких-то мест.

Василь Сергеевич смотрел на карту и вдруг закрыл глаза

и расхохотался:

— Ну и карта! Смотрите, внизу написано: Архангельская губерния. Ха-ха-ха...

Гофмейстер и все мы посмотрели на карту.

— А верно, — сказал Сучков.

— Ну, не угодно ли, — загорячился гофмейстер. — Географическое общество! Я им говорю — дайте мне Берендеево болото, а они Архангельское болото дали. Не дурачье ли? Какое невежество!

— Допрежь там, на болоте Берендеевском, — сказал хозяин, — разбойники жили, и атаманом у них девка была. Колдунья. Повечор песни пела. И так пела звонко да сладко, что к ней кажинный в болото идет, на голос. Прямо лезут — хоть што. Ну, и попадут в топь, плутают, а разбойники их и обируют, значит. Оберут, да и утопят. Сколько народу через то пропало. Это я слыхал от стариков. Зимой-то я проходил за лосями много раз через все болото. Но есть места, и зимой непроходимые, ключи такие, реки подземные. Тоже тянет туды. Ну, однова я, проходя там, на становище ихнее набрел. Место чистое, лесок, горка. Видать, что жильё стояло. Сруб обгорелый, канавка, а со мной всегда топорище. Я его на случай ношу. Я топорищем-то и стал копать. Ну и бога их выкопал. Вот страшный: голова, нос большой, а глаза — прямо из гвоздя сделаны. И гвоздь какой, прямо светится. Дак я его на санках домой привез. Мне жена покойная говорит: чего, говорит, ты в дом, говорит, Баран, тащишь? Нешто можно, икона у нас...

Ну, я его держу, поставил к лошадям, а лошади-то глядят на него да ржут. Приехал ко мне, што вы, охотник, барин эдакий из Питера, и глядел на его. И говорит: это, говорит, идол старый. Я — ученый, знаю, говорит. Это — скотий бог. Это, говорит, допрежь в старину было. Ты, говорит, за его деньги возьмешь. И покажи я его уряднику, а урядник-то исправнику сказал. Исправник ко мне. Сейчас, говорит, ты его сожги, а то в Сибирь попадешь! Ну, керосином облили, сожгли.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер. — Какое невежество. Его надо было в музей отдать.

— Барин, да нешто можно? — сказал хозяин. — Кому отдать? На его глядеть-то страшно. Кто эдакого возьмет? Кому надоть?

— А жаль, — сказал архитектор, — интересная штука была, должно быть... Что же глаза-то страшные?

— У него не один глаз, у него глаз-то много... А я вот теперь уже опаской ходить в болото стал, потому кружить меня стало. Знать, серчает бог-то ихний, что сожгли его. Вот меня завело раз. Дак я старичка встретил, махонький такой. Глухой, немой. Я думаю — заплутал старик. Говорю ему: «Куда идешь-то?» А он ничего — молчит, показывает рукой: «Не слышу». Я ему говорю: «Заплутался, сердешный?» А он мне, немой-то, смотрит на меня, да как крикнет: «Заплутал ты!..»

Да как свистнет, прямо сквозь меня свист-то этот прошел. Ведь это што? Вот я от него бег, вот бег! Слышу, а он за мной на четырех бежит. Вот оно што... Насилу убег... Вот и походи-ка там, в болоте-то... Вот оно какое...

Тэффи

О ПРИВИДЕНИЯХ

Дело святочное, поговорим о привидениях. Кто из нас их видел?

Помню, в детстве была у нас ключница, которая часто имела дела с привидениями, но все больше по съедобной части. Замерев от ужаса, не раз слышала я, как она рассказывала няньке трагическим свистящим шепотом:

— Теперь опять скажут — Воробьевская сама сливки выпила. А разве я стану сливки пить! Не видала я сливок? Я сливок очень даже много видала.

— А куды ж они делись-то? — спрашивает нянька и по лицу ее я вижу, что она догадывается.

— Опять «он»!

— С нами крестная сила!

— Вхожу в погреб, а он спиной ко мне стоит и прямо из кринки лакает. Лакает, а сам все наливается. Налился пузырем, да как закачается. Я скорей бежать.

— А какой он из себя-то?

— А из себя мерзостный.

— С нами крестная сила! А дверь-то на замке была?

— Ну, конечно! Вот и ключи у меня.

Нянька качала головой, вздыхала. Она и сама была мастерица по привиденьичьей части — и видала, и от людей слыхала, ее удивить было трудно.

Была у нее, например, в ее послужном списке встреча с водяным. Жуткая!

— Жила это я у тетеньки вашей в деревне. Мишеньку няньчила. И вот гуляю это я как-то с Мишенькой в саду, около речки. Дошли до поворота, вдруг слышим — бух! Ровно из ружья выпалило, а потом вдруг как загогочет. Ажно в глазах потемнело. Я ребеночка-то на руки, младенцем-то защищаюсь. А в речке-то вода так ходуном и заходила. Уж кабы не то, что со мной младенец, невинная душенька, был бы уж тут мне и конец.

Рассказ этот очень взволновал меня в свое время и я даже спросила у тетки, что это за история была, что будто ровно из ружья выпалило и вся вода ходуном пошла...

Тетка ответила очень спокойно:

— Как же, помню, помню. Просто кучер купался.

Из загадочных историй — слышанных от няньки — помню еще одну, очень жуткую.

— Приехал к нас в деревню из города старый еврей, хлопотал, похлопотал и выхлопотал себе у самого погоста землицы клин. И построил он на этой самой земле, что бы вы думали? (Эх, недаром евреи считаются самым оборотистым и торговым народом в мире!). Построил он баню для покойников. Каждую субботу баньку на засов запрет, а сам в город и убежит. Ну, а пакостникам того и надо. Шасть в баню, да до утра и парятся. Утром один из наших деревенских в окно глянул, а там — батюшки светы! Шайки все раскиданы, веники разбросаны. Дальше уж и смотреть не смел: волосы дыбом встали и языка решился.

Слыхала я еще в детстве, как лесник-охотник рассказывал про лешего.

Видал он лешего в лесу на поляне собственными глазами, и близко — шагов за пять-десять, не боле.

Ночь была ясная, лунная, под осень. Лежала середь полянки коряга, а на коряге — глянь — он! Небольшой, лохматый, ушастый, рогатый, а ничего себе, веселенький. Сидит, на луну глаза вылупил и кричит на луну:

— Свети-и! Свети-и!

Ну, луна, натурально, светит.

Я, говорит, ружье перекрестил. «Да воскреснет Бог и да расточатся врази его!» Да как пальну по ему картечью. Попал. Он вдруг как заорет.

— Закатии-иля!

Да бух под корягу! Только его и видели!

Я потом, как свету дождался, ходил на тое место, искал под корягой. Да где там. Это ведь не Божья тварь, на месте лежать не станет.

Эх, хорошо в былые времена рассказывали! Было что порассказать! А теперь из современников моих видела привидение только одна писательница Н-ская, да и то такое странное, что о нем не всем и рассказать-то решалась.

Было это привидение и неожиданное, и страшное, и необъяснимое — все, как быть полагается, но облик его был совсем в привиденческом быту небывалый. Скажу прямо:

привидение это было — жестянка из-под керосина.

— Возвращаюсь я вечером домой, — начинала писательница свой жуткий рассказ, — звоню. Открывает двери лакей. Передняя у меня довольно элегантная, поэтому то, что я увидела между вешалкой и зеркалом на ковре, очень меня удивило: там у стены стояла большая жестянка из-под керосина. Я даже рассердилась:

— Это еще что за мерзость? Зачем это здесь?

Лакей смотрит на меня в недоумении.

— Что, — говорит, — прикажете?

— Как что прикажу? Зачем вы сюда эту гадость поставили?

Он смотрит по направлению моего взгляда, потом снова на меня, т. лицо его выражает полнейшее недоумение.

— Да что вы, не видите, что ли?

Он совсем растерялся.

— Господи, да что с вами, я не понимаю! Уберите наконец эту жестянку! Вот, вот, вот эту самую, я о ней говорю!

И сердито толкнула ногой и — о ужас! Нога прошла через жестянку так свободно, как будто это был туман над ручьем, и стукнулась о стену.

Тут уж и я выпучила глаза.

Что за притча?

Однако, нужно было спасти свой престиж перед лакеем. Еще подумает — подвыпила барыня в гостях.

Взяла себя в руки.

— Ничего, — говорю, — пустяки... Можете идти!

А сама боком-боком, да в дверь.

Почему явилось мне это странное привидение, что оно мне предвещало, о чем предупреждало — не знаю. Потом отнесла я это видение к забастовке, когда электричество погасло и нужно было покупать керосин...

Рассказывать она об этой истории не любила. И я ее вполне понимаю. Если к какому-нибудь почтовому чиновнику являлись и Асаргадон, и Жанна д'Арк, и Иоанн Грозный, так и к писательнице могло бы явиться что-нибудь поинтеллигентнее, чем банка из-под керосина.

Не правда ли?

Тэффи

ФРАУ ФИШ

(Берлинский случай)

У дверей пансиона фрау Фиш остановился плотный человек в широком английском пальто, почитал дощечку и позвонил.

Фрау Фиш открыла сама.

— Я бы хотел получить небольшую комнату за небольшую плату, — робко сказал гость.

Фрау Фиш посмотрела на его широкое калмыцкое лицо, раскосые глаза, жиденькую прямоволосую бородачку и ответила:

— Небольшая комната есть, но за большую плату.

Гость ей не понравился. Во-первых, выражение лица у него было робкое, что в глазах немецких хозяек обличает безденежье, во-вторых, вместо багажа у него был кулечек в рогожке, что уже явно утверждало предположение.

— Я согласен, — сказал гость и кротко улыбнулся.

Хозяйка повернулась и повела его в коридор.

— Вот комната!

Комната была маленькая, полутемная, без печки.

— Тысяча марок в день. Без пансиона.

— Это чудесно! — кротко радовался гость. — Мне именно удобно без пансиона.

— Да, но я не хочу отдавать ее без пансиона. Я хочу отдать ее с пансионом за две тысячи марок.

— Тем лучше! У меня ведь очень маленькие потребности: горсточка риса в день, иногда яблоко.

— Раз у вас специальный стол, это будет стоить дороже. Тогда — три тысячи.

— Благодарю вас! Вы так добры! Вы так охотно идете на встречу каждому моему желанию!

Хозяйка облизнулась, широко раскрыв рог, точно тигр зевнул.

Гость вздрогнул и пристально посмотрел на нее.

— Простите, что я так смотрю на вас. Вы напомнили мне нечто из моих прошлых воплощений... Точно не помню, что...

— За телефон будете платить отдельно.

— Я не пользуюсь телефоном.

— Если не пользуетесь, то это будет стоить дороже.

У хозяйки была большая голова, круглая красная рожа и короткая толстая фигура, затянутая в корсет. Ноги были засунуты в мягкие бурые туфли. Гость смотрел на нее ласково и задумчиво:

— Да, да! Чудесно! Ах, если бы только вспомнить!...

Хозяйка ушла и вернулась с листками для прописки личности.

— Ваша фамилия?

— Будда.

— Занятие?

— Я всесовершенный.

Хозяйка записала: «коммивояжер».

— Лета?

— Много тысяч.

— Вы очень моложавы. Ваша родина?

— Индия.

— Индия? Скажите, вы не встречали в Индии господина Цукермана?

— Нет.

— Странно! Он возил туда трикотажные изделия. Его там все знают. Все это подозрительно.

Вечером хозяйка подставила лесенку к двери нового жильца и заглянула к нему через верхнее стеклянное окошечко. Жилец сидел на диване, поджав по-турецки ноги, и думал.

Хозяйка слезла и постучала в дверь.

— Херр Будда! Вы не должны сидеть, поджав ноги, это портит мебель.

На следующее утро она сказала, что требует деньги вперед за полгода.

— Если уедете раньше, я верну.

Жилец задумчиво улыбался и был всему рад.

Через два дня хозяйка потребовала, чтобы он уходил из дома часа на четыре в день.

— Вы все сидите, от этого портится мебель.

Потом она запретила ему ходить в раздумье по комнате, так как при этом стираются ковры.

На пятый день, заглянув в дверное стекло, она увидела, что жилец подстелил на ковер газету, встал на нее и не шевелится.

— Херр Будда! — крикнула она через дверь. — Уходите куда-нибудь и по вечерам тоже. Вы все дышите и от этого разводится сырость и портятся обои.

Жилец кротко улыбался и уходил. Но, возвращаясь вечером, он находил входную дверь запертой на какой-то особый крюк и должен был полтора часа звонить, пока не выскочила хозяйка и не выругала его, что он никому не дает покоя.

Когда он тихо стоял посреди своей комнаты, погруженный в размышления, она неожиданно распахивала двери и громко кричала, что она гладить в своих комнатах не позволяет.

— Я ведь не глажу! — робко оправдывался жилец.

— Ладно! Знаю я вас! Все всегда так отвечают!

Потом велела заплатить за год вперед.

Потом велела заплатить экстра за десять разговоров по телефону и тысячу марок за пепельницу.

— Я не говорил по телефону и пепельница цела!

— Да, но если бы вы говорили по телефону, то, наверное, не меньше десяти раз в день! Согласитесь сами, что это не моя вина, что вы говорите. Я не могу терпеть из-за этого убыток! Следующую неделю я буду считать двадцать разговоров в день. Эту комнату легко мог бы нанять какой-нибудь аргентинец. А аргентинцы, вы сами понимаете, меньше тридцати раз в день не звонят. Словом — вы должны платить за сорок телефонов в день. Вечера можете проводить дома, только старайтесь не дышать.

Жилец радостно улыбался.

— Да, да! О, это я могу!

Вечером хозяйка увидела через стеклышко странную картину: жилец висел в воздухе, почти касаясь земли ногами. Застывшее лицо его было бледно и недвижно. Он не дышал.

Она с воплем кинулась в комнату и стала тянуть его за ноги.

Он открыл глаза и улыбнулся.

— Что вы делаете! — кричала она. — Ведь вы так умрете! Мне будет возня и неприятности от полиции! И потом, кто вам разрешил висеть в воздухе без всякой веревки? Это неприлично! Вы невыносимый человек, херр Будда! Я прошу вас сейчас же оставить мой пансион, уплатив мне еще за год вперед и за оскорбление пятьсот марок.

Жилец вдруг сел на диван, поджал ноги и заплакал.

— В одном из воплощений своих я был зайцем и сам зажарился, чтобы отдать себя в пищу. Это было так просто и мило. Другой раз я отдал себя на съедение голодной тигрице. Вот на эту последнюю похожа ты, фрау Фиш! Но она сожрала меня мгновенно и насытилась, а ты жрешь меня каждый день целиком и все еще не сыта и не благословляешь вселенную! На этот раз не выполнил я своей миссии на земле, и как перевоплощусь я снова?! Ты погубила меня, Фиш, я более уже не всесовершенный!

А Фиш слушала, смотрела и думала — сколько марок насчитать ему за то, что он слезами закапал ей ковер?..

И. Лукаш

СТРАХ

Петербуржец вспомнит тот дом на набережной Васильевского острова, против Николаевского моста.

Набережная, вымощенная булыжником, начинала здесь спускаться к кронштадским пристаням и к пристаням «Виндава-Либава». На спуске, за решеткой, была на берегу водопойная будка для ломовых битюгов, а к деревянному плоту, о который билась Нева, подлетала иногда шлюпка с матросами, может быть, с «Полярной звезды» или с серых миноносцев, стоявших у Балтийских верфей, смутно видимых в синеватом невском тумане. Гребцы разом поднимали весла, как сильные крылья, и матрос ловко прыгал с причалом на качающийся плот.

За кронштадтскими пристанями, вдоль набережной, громоздились под брезентами бочки и мешки. Булыжники здесь были в пятнах темного масла, здесь пахло кокосом, пенькой, брезентом, как на набережных всех портовых городов.

А тот трехэтажный дом, против Николаевского моста, крашенный в желтую краску, был казарменной стройки времен императора Николая Павловича. Рядом с ним, на углу, как вспомнит каждый петербуржец, был на углу конфетный магазин «Бликкен и Робинзон». А налево, на углу 5-ой линии, где был образ за решеткой и стоял газетчик, вспомнит петербуржец и другой магазин шоколада — «Конради».

В том же косяке домов на набережной, рядом с желтым домом, был дом, крашенный коричневой масляной краской, со шляпным магазином и табачной внизу. В девятисотых годах там продавались папиросы «Соломка», с очень длинными мунштуками. Все здесь было как всюду в живых городах.

Но стоял среди живых фасадов мертвый дом, со слепыми пятнами стекол. Темные окна его были запылнены, двери подъезда, с заржавленными петлями, заперты наглухо.

Дом был необитаем. Десятками лет его не нанимал никто. Этот покинутый дом на самой оживленной петербургской набережной был населен привидениями.

В привидения дома против Николаевского моста верили и мои сестры и наши знакомые, все те простые петер-

бургские люди, среди которых я рос.

На глухом двореике булыжники заросли сорной травой, темный крапивник шуршал у стен, как на кладбище. Прогнили доски у дворовых крылец, железная крыша проскважена ржавчиной. Пыльные окна с побитыми стеклами смотрят темно и зловеще.

Не знаю, как я осмелился с храбрецом Ленькой забраться на двор заколдованного дома.

Стоял солнечный день. На Неве ворковали пароходные гудки. Полязгивала от трамваев и ломовиков набережная. По Николаевскому мосту с музыкой шли солдаты, вероятно, Финляндского полка, сменять в Зимнем дворце караулы. Как натянутая струна звенел, дышал за околованным двориком громадный живой Петербург. А здесь была такая вымершая, такая ужасная тишина, запустение смерти и нежить, что мы оба кинулись бежать.

Два подростка с перехваченным дыханием, без кровинки в лице мчались по линиям Васильевского острова. И очнулись от страха только у барок с сеном, на Малой Невке.

Это было в самом начале девятисотых годов. Тогда мои сестры носили шляпки с птичьими перьями, с целыми птичками, у которых блестели стеклянные коричневые глазки, — и жакеты с пуфами вверху рукавов. Я спрашивал моих сестер, какое привидение показывается в желтом доме, против Николаевского моста.

Они отвечали: кто-то. Никто не знал, какое, и все говорили — кто-то. Это — кто-то — было страшнее всего.

Я ничего не вымышляю. Я только вспоминаю те необычайно тихие девятисотые годы, — мое детство, — и тот, совершенно безмолвный страх перед чем-то смутным и ожидаемым, которым охвачены были все, кого я знал.

Любой петербуржец вспомнит, что кроме дома-нежити у Николаевского моста, на том же Васильевском острове в Кадетском корпусе, на Первой линии показывался, как рассказывают, маленький белый кадетик. В Морском Корпусе, на 11-ой линии, тоже было свое привидение, — будто бы солдат с потемневшим лицом.

Был призрак и в Академии художеств: там, в темени коридоров, являлся один из строителей Академии с веревкой на шее. Он повесился когда-то под академическим куполом.

В университете, в юридическом кабинете, где дверь была обита по-старинному войлоком, видели будто бы тень одного придворного, казненного когда-то и за что-то Петром тут же на площади, перед коллегиями.

Каждое петербургское казенное строение, казармы, корпуса, старинные дома словно бы были заселены нежитью, которая касалась всех нас, живых, и все чувствовали ее. Я вспоминаю, как дочь одного сторожа Академии художеств, Клавдия Ступишина, осталась навсегда косноязычной, испугавшись кого-то или чего-то в потемках академического коридора.

Страх — вот основное чувство нашего детства, страх перед необъяснимым потусторонним, страх перед нежитью, которая шевелилась вокруг.

Я вспоминаю мой детский страх и перед мертвецами. В Академии художеств умер истопник Мосягин, лысый и тощий старик с горящими глазами, похожий на Ивана Грозного и на Кощея. Мы трепетали перед ним, он не любил детей. Целые месяцы мы точно знали, как мертвый истопник Мосягин ходит по всем академическим коридорам и подвалам. Я, как и другие, не раз содрогался и обомлевал от ужаса: в потемках мне мерещились горящие мосягинские глаза.

Вспоминаю я еще одну приметку: чтобы не страшиться мертвеца, надо было тронуть, потянуть его за палец в гробу. Я помню, как на нашем дворе умерла чья-то маленькая девочка и я пошел потянуть ее за палец. Она лежала в крошечном глазетовом гробу, синяя, с синими ручками, скрепленными под полупрозрачным газом. Она не была страшной, но я так и не тронул ее за крошечный синий мизинец.

Нежить давно заселяла наш город. Людовик Восемнадцатый, в бытность свою в Митаве, в гостях у императора Павла Петровича, еще 1797 году записал в свой дневник со-

вершено странный рассказ о привидении в Зимнем дворце.

В ночь на 3 ноября 1790 года, фрейлина, бывшая на дежурстве у спальни императрицы, увидела привидение, которое величественно плыло по воздуху в тронное сало.

Разбудили людей, проснулась сама государыня и пожелала пройти в тронную. Там, на темном троне, колебалось как бы зеленоватое пятно света. Екатерина с недоверчивой усмешкой быстро направилась к трону и тогда увидели все, как поднялась сквозящая зеленоватым светом страшная старуха, двойник самой Екатерины. Видение медленно сошло по ступенькам и двинулось к государыне.

— Смерть, смерть! — глухо вскрикнула Екатерина и без памяти опустила на паркет.

Ее поспешно вынесли из тронной, зал заперли. А через три дня государыня скончалась.

Ту же старуху в мантии, двойник Екатерины, за несколько дней до своей смерти видел император Павел Петрович.

В туманную оттепель, рано утром, он был на верховой прогулке в Летнем саду с обершталмейстером Мухановым.

— Прочь! — внезапно крикнул кому-то Павел в туман.

Муханов подскакал к государю. В тумане никого не было.

— Вам что-то померещилось, ваше величество?

— Старуха... В мантии, — крикнул Павел. — Я задыхаюсь, Муханов, я не могу вздохнуть, будто меня душат.

Через несколько дней государя Павла Петровича задушили.

В Эрмитаже, который был соединен с Зимним дворцом потайной железной дверью, показывался, как помнят петербуржцы, тот же призрак страшной старухи.

А в Инженерном замке, — это известно всем, — появлялось привидение задушенного императора. В полночь Павел Первый стоял у окна в Летний сад, откуда пробрались к нему заговорщики.

Я не знаю, было ли так в других русских городах, и водились ли привидения в Москве, но в Петербурге, в те злое-тихие девятисотые годы, безмолвным страхом перед нежитью, вот-вот уже готовой прорваться, — были охваче-

ны все, кого я знал в моем детстве, — старые сторожа и старые солдаты, суровые служаки, ночные часовые у пороховых погребов и цейхгаузов, мерзшие в своих кеньгах на полковых пустырях, моя мать, отец, мои старшие сестры и мои сверстники.

Нежить уже готова была затопить все, вытеснить нас, живых, погасить, смести нашу живую и простую жизнь. И страх, которым были охвачены все, был, кажется мне теперь, предчувствием такого воплощения нежити.

И вот она воплотилась, вот прорвалась в нашу простую жизнь, погасила Петербург и смела дотла все и нас всех.

И я теперь понимаю, что тот опустевший дом с пыльными окнами, тот вымерший дом в оживленном косяке домов, на оживленной петербургской набережной, — дом, стоявший в смертном запустении, с ужасной тишиной на околдованном дворе, заросшем темным крапивником, — был знаком судьбы Петербурга и нашей судьбы, петербургских детей.

Я думаю, что теперь наш страх преодолен, побежден: никого не пугает больше нежить и страшилища, воплотившиеся в России.

И если хорошо подумать, какой простой, какой *сильной* и сказочной может еще открыться наша судьба: наша судьба только в том, чтобы заселился живыми тот заколдованный петербургский двор, чтобы сросся, как обрызганный живой водой, тот косяк домов у Николаевского моста и оказались бы на углах новые «Бликкен-Робинзон» и «Конради», пароходы задымили бы у пристаней «Виндава-Либава», шлюпки с матросами, кинувшими весла вверх крыльями, подлетали бы к плоту, а на набережной, у мешковков и бочек, пахло бы разлитым маслом, свежим ветром, водою, кокосом, пенькой и брезентами...

И. Лукаш

ЧЕРТ

Тогда еще горели кое-где в домах керосиновые лампы, а в Галерную гавань ходили конки. От разогретых кафельных печей воздух в комнатах был теплым и чистым, синяя лампа <тог>да мерцала в спальне над детской постелью.

Коричневые фотографии над диваном, бархатная салфетка на круглом столе, зеленоватый аквариум, за стеклами которого смутно помигивали плавники золотых рыбок, пастушка на качелях под часами, отец в серой офицерской тулупе, попыхивающий черешневой трубкой, и стеганые туфли отца, тогда все было таким прочным и несдвигаемым, что черт превратился в шуточное приложение к святочному выпуску «Петербургской газеты».

Он жил тогда на отдыхе, под пуховыми перинами, в самом тепле, в нагретых банях, на лежанках, он жил за самой пазушкой у людей и выходил пакостить по самым ничтожным делам. Мелкий путаник, шеликун, он без толку мешался во все и всегда выдавал себя головой. Всякий с легкостью водил черта за нос.

У солдат, например, он был просто на побегушках, и сколько раз его обыгрывали в Дурачка и Короля, заставляя катать за щекой свинцовые пули. Год со днем солдат черта в тавлинке проносил. Какой же тут черт, когда всякий и ефрейтор им помыкает?

Так было потому, что сапоги с голенищами у тех же солдат были тогда на подошвах в вершок толщиной, что от царя Алексея Михайловича и от других царей все ставилось впрок и, хотя тяжелили желудки подовые пироги, сыта и баранина с кашей, хотя и случались какие-нибудь междуцарствия и горел иной раз какой городишко от иноплеменных, но все равно, что ни день, все крепчало, и топор звенел о бревно, лом о гранит, и такие домища рубили, такие каменные набережные, полки с трубами, с барабанами, с генералами на конях, и все победы, одни победы, — такую Россию воздвигли, державу невероятную, что просто дух захватывает, и народы сторонятся, и орлы там и молнии, манифесты, парады, пушечная пальба, усачи становые, и прочее, и прочее. Куда же тут черту деваться?

Но в Петербурге еще оставалось тогда в живых два-три привидения. Известный призрак показывался в Инженерном замке, являлся на Васильевском острове, в Первом кадетском корпусе, николаевский солдат в аршинном кивере, тускло блиставшем в потемках. Жило по привидению в Академии художеств и в Медицинской академии.

Призрак женского пола, по виду богаделка в наколке и черной пелеринке, тощенькая Шишига в прюнелевых башмаках, верещала и шмыгала в старом доме, что против Николаевского моста, в том самом доме, крашеном желтой краской, где открылась позже Зубная лечебница. Танцевали изредка стулья на Конюшенной и, кроме привидений и танцующих стульев, жил в Петербурге престарелый черт.

В молодости шатался он по Москве, щеголял молодчиком с гармонией на ярмарках, вертелся у баб на балаганах, фокусничал, показывал в Нижнем дрессированных блох, ходил по проволоке, цыганил и барышничал, бывал послушником в монастырях, ведь около святых чертям и водиться, гулял по кабакам с дворовыми и солдатами и был избиваем ими до полусмерти. Там угонит ночью тройку, там свалить в канаву забубенную голову и храпит с нею до света, отогревая пьяницу жесткой шерстью.

От таких художеств серая шерсть черта пошла плешинами, глаза заслезились, он стал недужным на грудь и уже не принимал вина. Грешники и без его помощи торопились в ад, и такие у людей пошли вавилоны, выкрутасы и вымыслы, что черт в них ничего не смыслил и только отплевывался. Старик понял, что ему пора в отставку и на покой.

Остроголовый и комольй, рога он смолоду обломил, старый черт, похожий с виду на подслеповатого и коротконового мужика, поселился тогда в фаянсовом чайнике, на кухне, у няньки Агуни.

Чайник был большой, с синими и желтыми цветками, а носик отбит и к нему приделан сургучевый наконечник, перевязанный бечевками. В чайнике Агуня кипятила липовый лист, в нем же, на случай флюса и рези в животе, заваривали попеременно шалфей, ромашку, ревеня.

Черту в чайнике было немного тесно, но удобно. Неудивительно, что такой большой мужик мог уместиться в чайнике, под самой крышкой, куда пристали липовые чайники: известно, что нечистая сила, как иностранная, так и русская, может принимать любые размеры и обличия.

Кардинал Бона в книге «О распознавании духов» и аббат Рихальмус в книге «О хитростях и уловках черта» согласно утверждают, что черт, бывающий разных цветов, даже зеленого, может являться в любом виде, за исключением голубя и ягненка. Ученый Силистрий советует окуриваться от черта перцем, кардамоном, имбирем и корицей. Славный Гуаций к тому добавляет, что черта всегда можно распознать по несдержанной страсти к лошадям, но это, однако, не означает, что каждый лошадажник уже непременно и черт. В общем, по свидетельству ученого францисканца Геттербаха, «черт во всем похож на человека, но у него нет спины».

— *Dorsa tamen non habet**, а вместо спины у черта пустота, некая колеблемая тень или ничто. Потому-то, якобы, он и не отбрасывает тени: черт сам есть тень. Впрочем, вопрос об его спине — вопрос метафизический и не вовсе удобный.

— Кысы-пусы-и-ии, — свистел черт в чайнике Агуни и пускал из носика кудрявый пар. Он там парился, свистел в трубы и бил в свои тулумбасы.

Жесткие руки няньки Агуни тем временем заботливо подсовывали концы башлыка под лакированный ремень кадетика и гладили на прощание кадетскую стриженую голову.

— Да няня, просто дышать нечем, так закутала.

— Морозно на дворе, неровен час Сиверко хватит.

— Он солдат, ему твоя Сиверко нипочем, — говорил отец.

В серой тужурке, в туфлях и с трубкой, отец тоже выходил на кухню, когда кадетика снаряжали в корпус. Черная шинелька ладно сидела на мальчишке, но фуражка с красным околышем была ему велика и кадетская голова погибала

* «Спины, однако, не имеет» (лат.). — Прим. ред.

под козырьком. Отец, как и нянька, гладил его по жесткой голове:

— Ты не боишься мороза?

— Конечно нет, только лоб под козырьком болит, когда Неву переходишь.

— Пустяки. Русские солдаты Альпы переходили, а ты Неву.

— Папа, а кто такой Сиверко? Это привидение?

— Что?

Смех отца был куда светлее его пуговиц с орлами, тужурки, белого пикейного жилета, смех отца был таким огромным, как парадная зала, где люстра с хрусталиями и блестящая рояль, на которой играет мать.

— Сиверко, мой друг, никто и ничто, нянькины выдумки... Ветер дунет с Невы, вот и Сиверко.

— А я думал, привидение. У нас в корпусе одно привидение тоже есть. В коридоре ночью солдат ходит, который при Николае Первом повесился. Он в кивере.

— Этого не может быть.

— Но его наши кадеты видели, я тебя уверяю.

— Не уверяй, а лучше подумай: при — видение, при — зрак, *всюду приставка «при», стало быть*, только причудилось, привиделось, померещилось, а ты веришь всякому вздору. Никаких привидений нет. Ну, ступай. Кругом, а-арш....

Черт приподымал крышку чайника и слушал, выставивши наружу острое ухо в серой шерсти.

Когда всем тепло, когда солдатам полагается на день по два с половиной фунта черного хлеба с изюмом, когда городские в башлыках и тройки и медные трубы, парады, манифесты, победы, одни победы, никаких привидений быть, конечно, не может.

По субботам весь дом уходил к всенощной, и черт вылезал из чайника и садился на корточки у печки, мешая кочергой уголья. Его слезящиеся глаза были завешаны красноватым туманом.

Иногда он нарочно рассыпал уголья на паркете, хотя и жалел, что выжигает там ямки. Черные штанишки кадеты-

ка зацеплял за гвоздик и прорывал до дырочек, он же подталкивал детскую руку, чтобы насажать клякс в тетрадке или выронить ложку с лимонным желе.

Черт по совести исполнял домашние мелкие обязанности, но ночью, когда дуло из форточки, он стучал когтистой лапой по отставшей войлочной обивке, чтобы стужа и тьма не кинулись к постели кадета.

Черт обжился в теплом доме, как старый денщик. Особенно было приятно черту, что кадетик догадывается об его житье-бытье в фаянсовом чайнике и об игре на тулумбасах. В знак приязни он за то рассказывал кадету о хормцах и кораблицах, какие заведены у него в чайнике, о пышных садах из шалфея, озерах, русалках и развешанных облаках, которые куда лучше декораций в опере, потому что крошечные и живые. Он оживлял пожелтевшую фотографию, на которой был снят полк во времена Александра Второго: там все статные офицеры были в кеши с султанами. Кадетик командовал воздушными войсками и его генералы с султанами были гораздо красивее тех, какие встречались на улице: в калошах с медными задниками и в серых папахах. Вечером, в просонках, черт превращал мать, закутанную в пушистый оренбургский платок, не в мать, а в золотистую принцессу Брамбиллу.

Вечером по зале ходил отец, от его шагов звенели хрустали на люстрах.

«Все благо, бдения и сна приходит час определенный», — напевал отец и посапывал трубкой. Хрустали отзванивали: «бдения, сна».

Иногда в печных трубах гудел ветер, но каждая вещь была так несдвигаема, точно дубовая ножка стола или угол комода из красного дерева были самой вечностью.

«Благословен и день забот, благословен и тьмы приход», — напевал отец и думал, что впереди все будет еще прочнее, еще несдвигаемее, только залы станут с Марсово поле, изразцовые печи будут громаднее Казанских колоннад, сапоги у солдат в сажень, а Россия, а его сын — «тьмы приход», звенели хрусталики, — а его сын будет носить золотые эполеты с вензелями молодого императора Алексея Нико-

лаевича.

Черт тихонько вздыхал, слушая шаги, и качал головой. Он потому качал головой, что ему было не по себе в тишине теплого дома.

Заскребется мышь, пошелестит войлочная обивка у форточки, пройдет нянька в шлепанцах, черт задрожит от страха. Он так стал бояться чего-то, что решил, наконец, побывать у приятелей и набраться новостей.

Нянькина кошка выгнула спину и, поднявши трубой хвост, с шипением прыгнула с сундука на пол. Из черной шерсти посыпались искры. Известно, что, хотя люди не видят чертей, звери хорошо замечают. Тем временем черт шмыгнул в подъезд, и на улицу.

Там как раз проезжали извозчичьи санки. Черт прикорнул под медвежьей полостью.

Часовой в Инженерном замке мог заметить тень, мелькнувшую по мраморному подножию Геракла Фарнезского в том коридоре, что окнами на Фонтанку. Тень и была чертом, который пробрался в спальню известного призрака.

Зимний месяц, ныряя в тучи, бежал за высоким окном. Спальня была заполнена лунной мглой. Известный призрак, прозрачный насквозь, колебался у самого окна. Пятнами лунного тумана спадал его кафтан с раструбами на рукавах, светились прозрачные пряжки прозрачных башмаков и был виден сквозь пышную голову в буклях бегущий за окном месяц.

Известный призрак играл на прозрачной флейте. Звуки флажолета были как звенение старинных часов, отбивающих далеко и слабо старинную «Славу» или «Коль Славен»: «динь-дон, динь-дон-динь».

Переливы флажолета, звуки самого лунного света, заполняли покой, а черт только вздыхал и сопел.

Он не решился сказать известному призраку о своих страхах и тихо выбрался из замка на площадь. Искрилось Марсово поле, снеговая пустыня. Над полем бежал месяц высоко в тучах.

Тут черт вспомнил о Шишиге, которая жила в доме против Николаевского моста. Бледная Шишига, старая чертов-

ка, в черной пелеринке и прюнелевых башмаках, была сплетницей и переносчицей вздорных новостей. Черт недолго любил ее за злорадный смешок и за то, что она пугала ночью пьяных чиновников, бредущих в Гавань Смоленским полем. Однажды черт даже подрался с Шишигой и ушел исцарапанным.

Шишига сидела на подоконнике с поджатыми ногами; она смотрела в окно, на метельную Неву.

— Боязно мне, — сказал черт, переступая с копыта на копыто. Он наследил снегом в чуланце.

Шишига ничего не ответила, смотрела на Неву немигающими, круглыми глазами.

— Боязно, говорю. Все идет чин-чином, а мне...

Шишига вдруг застучала о стекло когтями, рассмеялась злорадно и горько. Черт дрогнул:

— Эва, ты!

А Шишига внезапно скинула с подоконника тощие ноги и заюлила, зашелестела по горнице.

— Не шебарши, слышь — с опаской сказал черт. — Говорю, боязно.

Шишига вдруг прыгнула на подоконник, стукнула ногтями в замерзшее стекло, тонко вскричала:

— Быть войне, быть войне....

От страха черт кинулся бегом. Он нырнул в фаянсовый чайник, забился в самый угол под крышку. С того дня он и перестал играть на тулумбасах.

Самой вечностью казались дубовые ножки кресел, углы комодов, кафельные печи, но злорадная Шишига накликала верно. Скоро открылась война, и еще хуже войны, новая война, и еще хуже — потемнело небо, как железо, потемнели дома, люди, звери, все стало, как из железа.

На Дворцовой площади, на выломанных торцах, валялась конская падаль, ее грызли псы. Изразцовые печи треснули от мороза сверху донизу. Стала дыбом рояль, на которой играла раньше мать, на рояль свалилась хрустальная люстра, выпятился из-под рояли угол комода. Так сдвинулись все вещи и сама вечность распалась в куски. Все стало обманом: теплые дома, печи, лампы. Не было обманом

одно: пришедшая тьма, никто и ничто. Колючий снег носился по зале, где были свалены на топливо последние куски вечности.

Няньку Агуню вынесли вниз по черной лестнице, ногами вперед. Нянькины ноги были, как тощие палки, на них потряхивались при толчках рваные валенки. За отцом, на кухню, которая дольше всего хранила в доме тепло, пришли солдаты, все с ружьями, все с пулеметными лентами. Одни солдаты ходили по холодным комнатам, другие стояли на лестнице.

Виски и лицо отца стали белыми, как снег. Он погладил кадету голову, провел рукой по затылку, пошарил по детской груди.

— Папа, куда тебя уводят?

— Так надо, мой друг, ничего.

— Куда тебя уводят?

— Через Неву, только перейти Неву и я вернусь, может быть...

— Надень же перчатки и возьми мой башлык.

— Башлык, хорошо...

Только через Неву надо было перейти отцу, но он больше не вернулся. Мать теперь сама носила со двора воду. Кадетик помогал ей таскать ведра. Вода расплескивалась, замерзала на обледенелых ступеньках, и у обоих коченели на жестяном ведре руки.

Мать ходила за водой в нянькином байковом платке и в тужурке отца, застегнутой на все светлые пуговицы: рукава тужурки были ей длинны и широки.

По ночам, когда мать затихала, свернувшись под байковым платком, кадетик становился на колени и беззвучно читал молитвы, какие знал, и еще свою молитву, которую теперь выдумал сам:

— Господи, Боже мой, дай, Господи, чтобы всем людям было хорошо, что бы всем стало тепло и у всех опять был хлеб. Дай, Господи, Боже мой, чтобы не было большевиков и папа вернулся домой и починил бы нашу квартиру, чтобы мама играла на рояли и снова открылся кадетский корпус, чтобы я хорошо учился всему, что надо. Господи Боже

мой, помоги всем людям Твоим. И чтобы не ели больше лошадей.

Чертям молиться строжайше запрещено, но живший в фаянсовом чайнике так обжился в человеческом доме и так страшился всего, напророченного Шишигой, что залезал на койку кадета и бормотал под его молитву что-то свое:

— Право слово Тебе говорю, люди все выдумали, мы тут не повинны ни в чем...

Бормоча, черт даже пытался подымать к шершавой груди руку свою с отросшими, как у китайца, ногтями:

— Право слово, Родимец, говорю... Сирот-то помилуй, не погуби.

Скоро мать отрезала прожженные полы от черной кадетской шинели, нашла на нее роговые пуговицы, и стала похожа шинель на черную кофту. В этой кофте, с узелками, с плетеной корзинкой, с чемоданом и фаянсовым чайником, в котором сидел черт, кадетик и мать пробирались в толпе на Царскосельском вокзале. Они уезжали в Киев. Фаянсовый чайник качался на бечевке. Кто-то сильно толкнул кадетика, бечевка лопнула, чайник упал.

Чайник упал и разбился в мелкие кусочки. Черт выпрыгнул, метнулся туда-сюда и потерялся в толчее. Так черт и остался в Петербурге.

Он вернулся было в пустой дом. Двери были отворены настежь, как после выноса покойника. Хмурые люди молча растаскивали к себе последние куски вечности: обломки рояльной крышки, помятую железную постель. Черт полетел над проспектом, потом по набережной.

На Николаевском мосту, над темной часовой с разбитыми окнами, он увидел летящую Шишигу, окликнул:

— Постой, постой....

Шишига обернулась, ветер забросил ей на лицо черную пелеринку:

— Лети за мной, сегодня всем приказано собираться.

На барку, затонувшую у Петропавловской крепости, приказано было собраться всем привидениям, какие только найдутся в Петербурге. Из Медицинской академии прилетел прозектор анатомического театра, с голым черепом, каш-

ляющий и чихающий, в черном, как у пастора, сюртуке, с выпущенными белыми манжетами. Прискакали гуськом по воздуху стулья с Конюшенной, разом пали в снег, замерли.

Другая Шишига, большелобая и большеглазая чертовка в мокрой меховой шапочке, какие раньше носили курсистки, прилетела с Екатерининского канала, с крутого мостика, где Софья Перовская некогда махнула платочком, чтобы бросили бомбу под карету Александра Второго.

Обе Шишиги присели рядом на краешки стульев с Конюшенной. Явилось нечто непонятное в охабне, в кивере и с ружьем, кажется, тот самый солдат, который повесился при Николае Первом. Из Академии художеств прилетело привидение в библейской хламиде. Наконец, на барку взошел известный призрак Инженерного замка. Отвевало ветром его прозрачные букли, торчал из заднего кармана кафтана прозрачный флажолет.

Все поклонились известному призраку. Солдат в кивере поднял ружье на караул, все прошептали:

— Здравия желаем, ваше величество.

— Здравствуйте, господа, — едва слышно ответил известный призрак. — Я созвал вас сюда, чтобы сообщить вам горестное известие. Вы видите сами, что свет погас и пришла тьма. Мы все суть не иное, как тени света, и когда нет его — не быть и нам. Посему прошу вас, господа, быть готовыми к безропотной кончине.

Тут известный призрак обвел темную столицу мановением прозрачной руки и сказал, что ныне обратилась сия держава в хладный ад, о котором Цезарь изрек:

Смола, Снег, Ночь.
Червь, Бич, Цепи.
Гной, Позор, Ужас.

И. Лукаш

МЕРХЕНГЕЙМ

Рождественский рассказ

Есть такой город в Богемии.

А когда нет Мерхенгейма в Богемии, он в иных краях, дальше, он, может быть — у Железных Ворот, в синем сумраке Карпат.

Там ночные сторожа на перекрестках улиц трубят часы и поют гимны.

Там очень старые дома под черепицей, с перекладинами из дубовых балок у окон.

Там качаются на вывесках железные ключи, железные сапоги с загнутыми шпорами, и золоченый крендель сияет над булочной.

Там горбатый мост через реку, а за мостом зеленый выгон, где кричат мерхенгеймские гуси, а за мостом серая стена старой кирки и на ее шпиле железный петух. Петух вертится, кукурекует и бьет крыльями.

На городской площади, у гостиницы «Голубой олень» стоит карета на тяжелых колесах, с потертым кожаным кузовом. Сидит на козлах возница в синей ливрее с серебряными пуговицами и в клеенчатом цилиндре, спят и кони, вернее, старые клячи, пришепетывая что-то во сне мягкими губами, заросшими жестким и седым мхом.

На горбатом мосту Мерхенгейма можете вы увидеть такие фаэтоны и такие дилижансы, каких не встретите нигде, а ночные сторожа, трубящие часы и поющие гимны, носят, как вы, может быть, знаете, смешные, высокие кивера и берут с собой в караулы одно кремневое, заржавленное ружье, которое уже давно не стреляет.

Вы, может быть, знаете, что выбеленный верхний покой «Голубого оленя», под самым чердаком, — еще отражается там Распятие с пыльной веткой омелы в круглом зеркале над постелью, — занимает теперь барон Мюльгаузен, почтенный путешественник.

Смуглое и живое лицо барона, несколько удлиненное и в рябинах, можно видеть в окне гостиницы каждое утро. Барон с нечесаными буклями, в поношенном персиковом камзоле, едва ли не первым приветствует в Мерхенгейме солнце бодрым, немного похожим на ржание — иго-го-го.

Тогда трубит медный рожок, из ворот «Голубого оле-

ня», качаясь и задевая кузовом стены, выбирается на площадь красный дормез с пышными гербами. Барон из окна перекликается с возницей и каждое утро он приказывает откладывать дорожную упряжку. Как видно, ему прискучили путешествия и он больше не променяет на них выбеленный покой постоялого двора в Мерхенгейме.

Скоро из многих окон начинают трясти тюфяки и пух еще летает, как снег, над мостовыми, когда мерхенгеймские хозяйки, четко звеня деревянными башмаками, проходят на базар.

Тогда же Храбрый Портной открывает свои ставни, где вырезаны сердца.

На его окне наклеены большие ножницы из синей бумаги, а сам он весело подмигивает прохожим, но каждый скажет, что Храбрый Портной заметно постарел: он теперь носить в оловянной оправе очки и за их круглыми стеклами близоруко щурятся зеленовато-лукавые глаза доброго малаго.

На базар, с корзинкой, идет и госпожа Золушка. Вы тотчас узнаете ее, легкую и статную, по крошечным туфелькам на серебряных каблучках: это те самые туфельки, из-за которых случилось столько памятных приключений. Золушка совершенно седая и если вы приглядитесь, то заметите, разумеется, что ее продолговатое лицо в тончайших морщинках. Ее супруг, Господин Принц, — он в куртке с пышными буфами и прорезями на рукавах, в странной куртке, которая кажется сшитой из поблеклого гобелена, — когда нет насморка и не беспокоят ревматизмы, — провожает жену на базар и с прежней галантностью несет ее корзину.

Уже открылась кофейня, и жареным кофе запахло на всю базарную площадь. Мешает жаровню сам хозяин, а хозяин не кто иной, как Кот в Сапогах. Правда, он уже не носит сапоги с раструбами, он в мягких гамашах на медных пуговках, но вот он стоит на пороге кофейни с газетой в руках, в зеленом переднике и в красном колпаке с кистью.

Потряхивает кисть, подпрыгивает под прокуренными усами длинный чубук, Кот в Сапогах пускает дым из ноздрей. Он потолстел и любит рассуждать о политике. Неда-

ром он и хозяин кофейни и редактор «Мерхенгеймской почты».

И кого только вы не встретите у него: весь город. И такие причудливые фраки, такие пестрые жилеты со стеклярусом, такие голубые плащи, рапиры, ботфорты, такие носы, пудренные парики, необъятные животы, китайцы, черти, арапы, — что, когда вы войдете в кофейню, покажется вам, будто ожили вокруг вас смешные фигуры переводных картинок или фаянсовых чубуков.

Со своими двенадцатью детьми, в именах которых ошибаются все, со своей бабушкой, которая, как добрый гренадер, нюхает табак из черепаховой табакерки, и с мужем, не замечаемым никем, бывает в кофейне, после воскресной прогулки, и Красная Шапочка.

А Синдбад-Мореход завсегдатай у Кота в Сапогах: он с утра играет там в домино и бросает кости. У Синдбада не хватает справа зубов — теперь он присвистывает — но он такой же рассказчик и так же лукаво переливаются его глаза, черные и блестящие, как маслины, а золотая стертая серьга позвякивает в ухе.

В кофейне, по правде сказать, несколько сторонятся его слушателей: они похожи на восточных пиратов, эти смуглые матросы, с головами, обмотанными желтыми и красными тряпками, эти чернобородые и матовые арабские купцы в заношенных полосатых хламидах, невозмутимо перебирающие бирюзовые четки, и эти негры с попугаями и мартышками на плечах. Мартышки проворно ищут блох, а попугаи ерошат клювами розовато-белые хлопья перьев и скрипуче кричат.

Кот в Сапогах, хотя и слушает с вежливым видом рассказы Синдбада, но уже давно не верит его несметным богатствам, который он так часто терял.

Ровно в полдень базарной площадью проезжает Мышиный Король в своих любопытных экипажах из ореховой скорлупы. Все. Знают этот час и расступаются, чтобы приветствовать Его Величество и не раздавить невзначай Его и всю свиту.

Мышиный Король в полдень пьет кружку пенистого эля у своего друга, капитана Гулливера. Тогда же бывает Щелкунчик в гостях у капитана, в его обширном доме, похожем на музей, с глобусами, картами океанов, телескопами, моделями кораблей и чучелами великанов, лилипутов и лошадей, которые будто бы могли говорить на всех человеческих языках. За элем, капитан Гулливер, Мышиный Король и Щелкунчик курят из глиняных трубок и ведут богословские разговоры.

Сорок тысяч бумажных братьев, неведомых никому, или чернильные человечки, или оловянные солдатики, с одним из которых недавно жестоко подрался после пирушки Храбрый Портной, — всех обитателей Мерхенгейма не перечислить. Любопытно, однако, что Мальчик с Пальчик, — у него теперь острая седая борода, — приютил ту самую Девочку, которая торговала спичками, а Принцесса Горошинка, крошечная и бодрая старушка, дает по всему городу уроки на клавиринах и учит контрдансам.

Дед-Мороз избран в этом году мерхенгеймским городским головой.

Старик большой весельчак и всегда в добром здравии. По утрам он сам рубит дрова. Он славно крикает над топором, его борода шуршит по ветру белой метелью, весь дымясь, он утирает лысину и с удовольствием нюхает из тавлинки свой крепчайший табак, тертые корешки. А пахнет от деда кисловатым паром, туманом метелей, свежеспеченным хлебом и еще, почему-то, псиной.

Есть и Синяя Борода и Трехглазки и Одноглазки в старом Мерхенгейме, есть также еще пряничный дом на углу. Прохожие отламывают от стены дымящие, теплые ковриги, а где отломлено — тотчас вырастают другие.

Сказать еще, что феи, злые и добрые, живут теперь в большом замке, за тенистым парком, в мерхенгеймском убежище для престарелых. Вокруг парка каменная ограда и над запертыми воротами по вечерам опускается на скрипящих цепях фонарь, похожий на кривую турецкую луну.

Феи выходят на прогулку рано утром, попарно. Тогда, в своих просторных голубых платьях и в белых наколках с

дрожащими, как крылья, полями, феи очень похожи на кармелиток. Волшебные феи палочки привешены на медных крючках у всех дверей и любой мерхенгеймец может постучать палочкой о стену или о мостовую, чтобы тотчас появились стол с яствами, богатые одежды, ларцы с драгоценностями, бочка доброго вина и прочее, по желанию.

Все это так прискучило в Мерхенгейме, что волшебные палочки — они, кстати сказать, очень похожи на черные палочки дирижеров, — пылятся у дверей на медных крючках. Когда вечереет и зажигаются огни в лавках и булочных, когда все прохожие становятся тенями, а дома призраками, можно подумать, что вы вовсе не в Мерхенгейме, а в любом другом городе, где так же, как здесь, живут и стареют феи, Золушки, Синие Бороды, Красные Шапочки, злые волшебники и Храбрые Портные. Стареют и в Мерхенгейме, но никто там не умирает. Смерть забыла или обходит старый город, и что такое «умирать», там не поймет никто....

Вам, может быть, известно, что в городе очень много игрушечных мастеров, танцоров, акробатов и музыкантов. Как и в других городах, молодежь Мерхенгейма уходит искать счастья по всему белому свету.

Странно только одно: когда они минуют городской выгон с гусями, они забывают, где Мерхенгейм, а когда войдут в синюю горную мглу, они так забывают Мерхенгейм, точно нет его вовсе.

И они решительно ничего не помнят, когда приходят к нам, и они могут засмеяться вам в лицо, если вы назовете их мерхенгеймцами.

Обычно их зовут у нас чудаками, и разве вы не встречали их? Вот и я помню одного чудака, он был канцеляристом в департаменте. а жил в Галерной гавани. У него была канарейка и он хорошо играл на флейте. Лет пять он учил канарейку танцевать под флейту вальс и выучил, но, право, кому это надо, чтобы канарейки танцевали вальс?

Помню еще одного, старого дьячка от Троицы на Петербургской стороне, он прятал под воротник пальто плетущок своей сивой косицы. Дьячок играл на цимбалах, но всего любопытнее, что он играл на цимбалах Бетховена.

Еще видел я старого еврея в буром котелке, который каждый день выносил на киевский базар венский стул с продавленным сиденьем. Дыра была прикрыта доской, на доске был разостлан грязный платок, а на платке лежали: закоптелая горелка от лампы, заплесневелый будильник, помятая банка от монпансье с ржавыми гайками и гвоздями и разбитое блюдо, где было два старинных пятака и кусок сургуча.

Видите ли, ни писец с канарейкой, ни дьячок-цимбалист, ни этот киевский Ротшильд с продавленным венским стулом никогда не признались бы, что все они коммивояжеры Мерхенгейма и распространяют среди нас его товары и образцы, — то, что никому, ну никому не нужно, что бесполезно, в чем нет никакого, ну никакого смысла.

Чудаки, фантазеры-изобретатели, смешные коллекционеры, дворовые музыканты, старьевщики, гаеры, шарманщики, клоуны, кукольные мастера и те, кто выдумывает серебряную канитель для елок и холодные звезды и бумажные фонари, кто выдумывает все ненужное, все бесполезное, — все они выходцы из Мерхенгейма, его неутомимые коммивояжеры. Иногда, очень редко, по правде сказать, среди этих наивных, бесхитростных и добрых детей Мерхенгейма встречаются и те, кто торгует вымыслами, ветром, дымом и привидениями и кого у нас называют художниками или поэтами.

Но не стоит и спрашивать их: они все забыли и никто из них не слышал о Мерхенгейме.

А есть такой город в Богемии.

И если нет его там, — он в иных краях, дальше, он, может быть, в синем сумраке Карпат, у Железных Ворот...

Н. Рошин

ЛУНА НАД СТРАСБУРГОМ

Новогодняя сказка

I

Страсть повара

Толстый Ганс, старший повар господина страсбургского бургомистра, никогда не разводил очага прежде, чем не выпивал кружки отменного кирша или пинты-другой пива. «Если в лампу не наливать масла, — говорил Ганс, — то неосмотрительно требовать, чтобы она светила». А так как чем лучше лампа, тем больше требует она масла, то к концу обеда за очагом вырастала у Ганса такая батарея бутылок, как целый орган. И, приводя себя в тожественно-энергетическое состояние духа, Ганс в лунную ночь выходил во двор и, обращаясь к воображаемым слушателям, говорил:

— Посмотрите, какая она у нас круглая, плоская и большая. Она совершенная красавица. Она не делает разницы между людьми и освещает одинаково и наш великолепный собор, и дом бургомистра, и самую жалкую лачугу окраины. Она светит уже больше тысячи лет. У ней благородное сердце. Вот только жаль, что столько стало в нашем Страсбурге колбасников, коптилен и пивных, что своим дымом они ее изрядно закоптили. Надо ее почистить!

И он брал горсть тертого кирпича и суконку, и лез на лестницу, прислоненную к сараю. Разумеется, дойдя до последней перекладки, он летел вниз. Впрочем, он не разбивался, так как был очень толст и, поворчав, что все-таки он своего добьется и снимет с луны пятна, мирно засыпал тут же, у лестницы.

В ту новогоднюю ночь Гансу было не до луны. Помощник повара и трое поварят едва успевали справляться с командами Ганса. Надо было зажарить сто фазанов, пятьдесят индеек, двадцать пять поросят, целого быка и сделать пудинг такой легкой, чтобы он был не тяжелее воздуха, — ровно в полночь господин бургомистр должен был объявить многочисленным знатным гостям о семейной радости, — обручении его единственной красавицы-дочери Магды с молодым доктором философии Карлом Зоммервин-

тером, сыном всеми уважаемого ювелира и оптика. В те давния и счастливые времена не было большого различия между богатым и бедным, человеком именитым и простым, — все цеха обладали равными правами и пользовались одинаковым уважением со стороны граждан, а ремесло гранильщика драгоценных камней, точильщика линз и литейщика зеркал почти равнялось искусствам, как живопись, стихосложение, скульптура. Старый же Зоммервинтер делал такие великолепные алмазные украшения, что они светились даже в темноте, и лил такие зеркала, что даже совершенная дурнушка видела себя в них красавицей, — поэтому несколько не удивительно, что дочь бургомистра выходила за сына ремесленника. К тому же молодой доктор был красив, строен, умен и скромн.

II

Горе маленького чертенка

Все черти получали в те времена отпуск, полный отдых от всех своих пакостных дел единственный раз в году, — в ночь под Новый Год. Тут им давалась полная воля, и они могли бегать взапуски на кладбище между могилами до испарины, дуться в карты до полного проигрыша всех душ, соблазненных за год, плести друг другу всяческую околесину хоть до утра, напиваться пивом и водкой хоть до бесчувствия и вообще развлекаться, как кому вздумается.

Многие из страсбургских чертей в ночь под Новый Год любили выйти на люди, на улицы и площади, освещенные площадками и кострами, к ларям и лоткам, в толпу ряженых. Они и сами рядились, — обычно в одеяния людей, все же имеющих связь с чертовщиной: докторов, негров, мельников, веревочников, трубочистов, астрологов. Здесь они водили хороводы, пощипывали толстощеких горожанок, лстывым нашептыванием втирались в доверие к кому-нибудь из подвыпивших ремесленников и пили и гуляли на его счет

до утра, а подвыпив, бахвалились перед толпою зевак, доходя до такой беззастенчивости, что иной из горожан, плюнув, говорил:

— Можно ли так напиваться в столь праздничную ночь! Видно, и стыд и совесть продал пьяный болтун черту.

И черт, законфузившись, смешивался с толпой.

Однако утром того дня, когда должно было состояться обручение бургомистровой дочери с молодым доктором философип, каждый из чертей города Страсбурга, где бы он ни проснулся, — в разбитом склепе, под банным поломом, в пустой табакерке, под печкой в булочной, — каждый черт, продрав глаза, почувствовал некоторую неловкость, а окончательно придя в себя, увидел, что к длинному его носу приклеен сургучом приказ, написанный на клочке луковой шелухи рыбьей костью. В приказе говорилось, что с наступлением темноты черт должен немедленно явиться на старое пожарище, куда прибудет начальник, посланный от главного, чье имя не называется.

Черти были сильно разочарованы, но что поделаешь, — нет большей строгости, субординации и дисциплины, чем в мире чертей. И как только смерилось, на старом пожарище поднялся такой лягз, звон, лай и свист, что редкий прохожий, подняв воротник и шепча «Патер ностер», спешил как можно скорее добраться до крепостных ворот.

На старом пожарище, на обугленных кирпичях печки, сидел черт-начальник. На нем была железная корона и от шеи спускалась вниз черная мантия. Лица у него не было, — вернее, было что то неопределенное, непрерывно струящееся, движущееся, как болотная зыбь. Два черта чадили перед ним длинными своими горящими хвостами, которые обмакивали они в смолу, налитую в конский череп. Старший черт города Страсбурга, — кривая ведьма, похожая на исполинскую жабу, с одной грудью, торчащей рогом, и пятками, повернутыми вперед, слушала журчание приезжего черта. Потом она взвизгнула, подняла светящуюся гнилушку к длинному свитку, поднесла к носу две печных вьюшки на манер очков и начала читать.

— Приказ главного, чье имя не называется. Черти горо-

да Страсбурга! Пришла нам в голову мысль, к осуществлению которой мы вас призываем. В ночь под Новый Год повелеваем вам снять язык с главного соборного колокола. Дело надо провести со всей осторожностью и до полуночи. В назначенный срок механизм, вещающий о приходе Нового Года, будет приведен в молчание, и таким образом нами украден будет у людей целый год.

— Ловко! — щелкнул языком какой-то из чертей.

— Тише! — взвизгнула ведьма и пустила смрад. — Я продолжаю.

— Тем же, кто недостаточно сообразителен, мы сообщаем цель этой задачи, чтобы он понял, сколь она серьезна. Украденный год образует пропасть во времени. И в эту пропасть свалятся все векселя, срок которых исполняется в украденном году, все обязательства должников перед кредиторами, все договоры между цехами, областями, государствами, десятки тысяч тех человеческих существ, которым надлежит родиться в этом году и которым нельзя будет прописаться. Десятки тысяч тех, которым полагалось умереть в этом году, станут как бы бессмертными. Все, что будет сделано нового в науке, ремеслах и искусствах, станет как бы несуществующим, так как не будет отмечено датой. Между прошедшим и будущим образуется трещина, как в земной коре при землетрясении, внесется великая путаница и смятение в человеческие умы, начнутся волнения, смуты и войны и, может быть, наконец-то погибнет столь ненавидимый нам человеческий род!..

Вывизгнув последние слова, ведьма пустила такой смрад, что даже кое-кто из чертей смущенно зажал нос и зачихал.

Последним в толпе слушателей стоял маленький чертенок. Он дрожал от холода и все время почесывался от блох. Старая ведьма была его мачехой и потому все, что она говорила, было ему скучно и неприятно, к тому же он многого не понимал, а главное — ему не доверяли никаких серьезных поручений по его малолетству и неопытности. Поэтому, позевав и потоптавшись, он юркнул в бурьян, перелез через забор и прыгнул па дорогу. Здесь он дал себе хорошо шлепка под низ, взвился на воздух и полетел над горо-

дом.

Чертенюк занимался мелкими проказами, да и проказы эти, с точки зрения настоящего взрослого черта, были скорее предосудительны, — лизнуть мостки перед каким-нибудь глупым щеголем, чтобы тот растянулся как раз на глазах красавицы, толкнуть под локоть плута-торговца, чтобы тот отрезал бедняку кусок потолка, подсунуть скряге фальшивый талер.

Пролетая над одним из домов, чертенюк слегка снизился, сорвал с балкона флаг, живо смастерил из него маску, грубый пастушеский плащ и шапочку с пером, а из дровка сделал свирель.

Перед одними из крепостных ворот, у площади Ворона, он тихо опустился и вышел на свет фонаря, попрыгивая и посвистывая па своей дудочке. На площади шло веселье, слышался смех и визг, пение скрипок и грохот барабанов, горели плошки, целые бараньи и свиные туши жарились на вертелах, продавцы всяческих жареных, печеных и вареных яств звонко расхваливали свой товар, вкусно пахло из дверей празднично освещенного трактира «Два единорога», пестрый хоровод ряженных с пением кружился вокруг огромного костра, и с завистью наблюдал праздник с крепостной стены толсто одетый неуклюжий аркебузник. Чертенюк вошел в хоровод и, подплясывая и подпевая тоненьким голоском, закружился вместе с цепью. Он так развеселился, так распелся и распрыгался, что не заметил, как подошел слишком близко к огню. В морозном воздухе запахло паленой шерстью.

— Эге! Хорош запах под Новый Год! — со злорадной подозрительностью закричал подвыпивший толстый мясник. — Посмотрим-ка, откуда он идет!

Хоровод остановился, люди отхлынули от огня и только маленький чертенюк остался на месте, дрожа от испуга и поджимая опаленную лапу. Мясник шагнул к нему, приподнял плащ и все увидели шерсть, хвост и копытца. Чертенюк заплакал, а мясник с хохотом схватил его за загривок и поднял над костром.

— Эй, ты никак сошел с ума! — подбежал к нему худой и скрюченный точильщик ножей. — Да ведь черта оросить в огонь, это все равно, что тебя опустить в бочку с вином.

— В воду его, в воду, в канал! — закричали люди. Мясник, за которым побежала толпа, подошел к деревянным перилам и швырнул чертенка в черную холодную воду.

III

Приключение доктора философии

Молодой доктор философии так торопился к празднику, что был готов задолго до полуночи. В счастливом волнении он вышел на улицу. На нем был бархатный берет, длинный плащ и шпага под плащом. Мороз усиливался, улицы были пустынные, лишь кое-где светились окна за створками ставен. Снег поскрипывал под ногами, в темном небе сияли звезды.

Доктор подошел к собору. Он любил это великолепное здание, гордость города и всей страны. Больше всего любил он взобраться на самый верх, к колоколам, и смотреть на острые крыши города, тяжелые башни городских стен, кривые улицы, реку и каналы, опоясывающие его, и голубые полоски лесов за полями. Хорошо было смотреть и снизу, высоко вскинув голову, — как весь тяжелый массив собора низвергается, летит в небо бесчисленными своими колоннами, всей своей готической органной стройностью.

Проходя мимо собора, доктор посмотрел вверх. Ему вдруг показалось, что в совершенно чистом небе, над высоким крестом собора, вьется прозрачно-темная туча. Он подивился странному явлению природы, но не обратил на него большого внимания и пошел дальше. Он медленно закружил по ломаным улицам Ткачей, Булочников, Кожевников, Башмачников.

Проходя около городских стен, в открытые ворота, выходящие на площадь Ворона, доктор увидел свет костров и

услышал нестройные и громкие крики. Он вышел на площадь и увидел, что весь народ столпился у канала. Протиснувшись вперед, он увидел, как люди отгоняли от берега палками и камнями маленького черного козленка, который уже начинал тонуть. Доктор оттолкнул двух зевак, лег на землю и опустил в воду край плаща. Козленок быстро подплыл к берегу, уцепился за ткань, доктор выхватил его из воды и, взяв на руки, завернул в плащ. Мокрый козленок весь дрожал и черные глаза его блестели от страха и благодарности. Доктор тихо пошел вдоль канала.

— Ах, вот ты где, маленький негодяй! — слышался злобный старческий голос позади доктора.

Он обернулся и увидел седую сгорбленную старуху.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил доктор.

— Вот кого мне угодно! — сказала старуха и, вырвав козленка из рук доктора, отвесила ему несколько увесистых шлепков.

— Не бейте его, он упал в воду. Он простудится и заболит, — сказал доктор.

— Не беспокойтесь, — ответила старуха. — Не знаю, как меня, а уж вас-то он наверно переживет.

Она накинула на шею козленка петлю и повела его на веревке за собой. Козленок жалобно заблеял и в голосе его доктору почудились звуки, похожие на звуки человеческой речи.

— Да замолчишь ли ты, мерзкое животное! — крикнула старуха и ударила козленка ногой.

— Сударыня, вы очень взволнованы и не совсем справедливы. Это от бедности. Я хочу вам дать немного денег.

Старуха злобно оттолкнула руку доктора и сказала:

— Конечно, я бедна. Но раз в году можно говорить правду. Оставьте ваши деньги. Помощь бедным аморальна. Она развращает людей и из хороших работников делает лодырей. Если богатые перестанут помогать бедным, то бедных не будет.

— Не знаю, — сказал доктор, пряча деньги. — Может быть, вы и правы, я об этом еще не думал. Во всяком случае, поверьте, что я не хотел вас обидеть.

— Я не обижена, — более добрым тоном проворчала старуха. — А если вы и в самом деле не брезгуете бедностью, то окажите честь и зайдите в наше скромное жилище.

Она толкнула дверь в глухой и длинной стене, и они вошли во двор заброшенного монастыря. В дальнем конце двора старуха, кряхтя, подняла каменную плиту. Доктор по лестнице спустился в подземелье.

Здесь светила масляная лампа и пылал очаг. Доктор с удовольствием после холода опустился на скамью около большого стола. Старуха пошла к поставцу и вернулась с двумя оловянными стаканами и запыленной глиняной бутылкой. В это время опять заблеял козленок, и опять доктору послышалось что-то близкое к человеческому голосу.

— Отвратительное и беспокойное животное! — закричала старуха, опять дала пинка бедному козленку и крепко привязала его к кольцу около очага. — Если бы из него не выросло со временем настоящего козла, он давно бы уже был на вертеле! — добавила старуха. — С наступающим новым годом, добрый господин!...

Доктор опорожнил свой стакан. Напиток показался ему необыкновенно ароматным и крепким. Он оглядел комнату, и только тут заметил, что ее убранство несколько необычно: по стенам и с потолка висели сухие, туго растянутые лягушачьи шкурки, коровий зуб, разбитый горшок, клочок собачьей шерсти, утиная лапа, половина подковы, рыбий скелет, — словом, дрянь, мимо которой и самый жадный человек прошел бы без всякого внимания. Но странно, — доктор удивлялся не этой обстановке, а тому, что она несколько не показалась ему удивительной. Сознание его странно двоилось, а вместе с тем, ему было очень приятно.

— Это кирш. Очень крепкий кирш, и меня немного разморило с холоду, — подумал доктор.

Хозяйка, между тем, достала со стены огромный деревянный гребень, которым расчесывают овечью шерсть, воткнула его себе в волосы, грациозным движением отнесла его в сторону и коснулась своих натянутых волос. И вдруг послышалась необыкновенно мелодическая музыка.

Старуха запела, и доктор даже зажмурился, — это было почти ангельское пение. Он слышал похожее на него только раз в жизни, в одной из капелл Рима, где пел хор мальчиков. И опять все показалось ему естественным, и потому он нисколько не удивился, когда хозяйка повернула к нему свое лицо. Куда, куда девались этот отвратительный черно-желтый клык, стоявший поперек жабьего рта, этот выпученный глаз и слепая пелена на другом, этот нос, сходящийся с подбородком и образующий с ним страшный клюв хищной птицы, эта желто-грязная отвратительная кожа уродливого лица! Перед ним сидела невиданная красавица. Юные щеки ее пылали, большие синие глаза светились печалью и нежностью, полуоткрытый рот дышал прелестительным холодком жемчужных зубов.

В это время козленок, все время тершийся шеей об угол очага, перетер наконец веревку, тихо скользнул в приоткрытую дверь и выбежал наверх.

IV

Кузнец и чертенок

Кузнец Петер с победно-веселой яростью в последний раз ударил молотком по концу тонкого железного прута. Петер был приятель главного повара у господина бургомистра. Он знал о страсти своего друга к луне и весьма хогел ему помочь. Ворочаясь до полуночи в кровати до того, что вязаный колпак лез ему в рот, Петер выдумывал план такой длинной лестницы, по которой его приятель беспрепятственно мог бы добраться до луны. Все было тщетно, — самый лучший проект, с рычагами и выдвигаемыми стержнями, в лучшем случае довел бы до половины собора. А до луны кузнец считал не меньше ста километров.

Наконец, его осенила мысль простая и гениальная, — построить лестницу из двух частей. Взобравшись на первую, нужно было приставить к ней вторую, а добравшись до вер-

ха второй, просто выдернуть из-под нее первую, в свою очередь приставить ее наверх и так, все время выдергивая нижнюю половину, взбираться хоть до седьмого неба.

Кузнец сунул прут в деревянное ведро. Вместе с шипением остывающего железа послышалось легкое и почтительное покашливание. Кузнец обернулся. От груди старого лома к нему под ходил черный козленок.

— А, подковаться пришел? — с добродушной насмешливостью сказал Петер.

— Нет, господин кузнец, — вдруг ответил козленок. — Я прибежал к вам по очень важному делу. Видите ли, нынешней ночью мы, то есть черти....

— Как? — вскричал кузнец. — Значит, ты черт?

Он схватил извивавшегося козленка за задние ноги, швырнул его на наковальню и уже занес над ним тяжелый молоток.

— Остановитесь, господин кузнец! — отчаянно кричал козленок. — Остановитесь, сейчас вы отвечаете не только перед горожанами Страсбурга, но и перед всеми людьми, сколько их есть на свете.

— Ну, скорее говори, в чем дело, пока я не размозжил твоей нечистой головы!

— Господин кузнец, этой ночью черти украли язык главного колокола на соборе, так что нового года не будет. Скорей, скорей принимайтесь за работу, иначе все погибло.

Кузнец выхватил железный брусок, бросил его в горн и схватился за мехи. Взвилось огромное пламя. И все время, пока он ковал кусок железа, пока загибал его верхний край, козленок топтался на месте и блеял.

— Скорей, скорей, господин кузнец, иначе мы опоздаем. Готово? Теперь скорей садитесь на меня.

— На тебя?

— Да, да, не смущайтесь, я очень сильный!

Кузнец нерешительно присел над козленком, сжал ему бока, тот крякнул и весь покрылся потом.

— Нет, не хватает дыхания. Дайте мне воздуха.

Кузнец живо отгреб лопатой угол от горна, приподнял козленка, тот приставил рот к трубке, и не успел кузнец

своими могучими руками дать и двух полных толчков меча, как чертенок раздулся, подобно воздушному шару. Кузнец сел, как на круп хорошо раскормленной лошади, и они быстро взвились на воздух и полетели к собору.

— Берегитесь, господин кузнец! — крикнул козленок, и кузнец едва успел нагнуть голову, как они были уже в полете церковного окна. И как только кузнец, стоя между копиями решетки, вскинул на вытянутых руках тяжелый язык и сунул загнутый его край в колокольное ухо, так сейчас же снизу раздалось громкое шипение механизма, ляг проволоки и оглушительно прозвучал первый удар полуночного боя.

V

Торжество повара

И едва только раздался первый удар колокола на соборе, как вдруг какая-то сила швырнула доктора Зоммервинтера со скамьи, из объятий красавицы, в которых он совершенно забыл и о новом годе, и о своей помолвке с дочерью бургомистра. А ведьма, страшно скрипнув зубами, мгновенно превратилась в старуху, потом во что-то среднее между свиньей и гусыней, потом в нечто похожее одновременно и на кошку, и на ежа, и вдруг шлепнулась на пол куском студня. Доктор с омерзением толкнул ногой в мокрое место и выбежал па улицу.

Медленный и торжественный звон плыл в морозном воздухе. Доктор стоял перед окнами бургомистрова дома, ярко освещенными и пустынными. Бегом он бросился вверх, швырнул на бегу плащ и берет слуге и взбежал по широкой лестнице. Бургомистр с женой и дочерью под руки медленно шел ему навстречу. Многочисленные гости устремились к столу. С последним ударом колокола все высоко подняли стаканы, грянула музыка и бургомистр торжественно объявил о помолвке своей дочери Магды с доктором фило-

софии Зоммервинтером. Начался пир, равного которому не могли вспомнить за всю свою долгую жизнь именитые граждане славного города Страсбурга.

А на кухне, по мере приближения ужина к концу, все вырастала батарея бутылок у жарко раскаленного очага. И когда, наконец, четверо слуг внесли на огромном подносе великолепный пудинг, Ганс вытер пот со своего красного лица, залпом осушил пинту пива и сказал:

— А теперь пора, наконец, вспомнить и о ней. Пойду чистить луну!

— Господин шеф, — смеясь, сказал тоже подвыпивший поваренок. — В который раз вы собираетесь это сделать и каждый раз падаете в снег. Луна слишком высоко подвешена над Страсбургом!..

Ганс счел ниже своего достоинства отвечать на это замечание. Он взял горсть тертого кирпича и суконку и вышел во двор.

При свете луны он увидел, как в ворота входит человек, неся на спине какое-то довольно громоздкое сооружение. Он с радостью узнал приятеля, они расцеловались, поздравили друг друга, и Петер передал Гансу новогодний подарок.

Они вышли на середину двора. Силач Петер поддерживал плечом лестницу, пока Ганс на нее взбирался, и потом передал ему вторую половину Ганс, побряхтывая, одолел и ее, и с верхней перекладины крикнул приятелю, что стало уже значительно холоднее. Потом он выдернул нижнюю половину лестницы и подтащил ее к себе на веревке.

Задрвав голову, Петер долго смотрел на все уменьшавшегося Ганса, — пока тот не превратился в хвостатую точку, а потом и совсем не скрылся из виду.

Через полчаса Ганс был уже у самой луны. А еще через полчаса яркая, чистая, словно только что отчеканенная, без единого пятнышка, ослепительная луна стояла над городом Страсбургом. Первые ее лучи упали на козленка, и он от них побелел.

И. Голенищев-Кутузов

МАРИЯ

«Вот келья блаженного Марка», — сказал молодой францисканец. Мы вошли в совершенно пустую, низкую комнату. Каменные стены украшало лишь Распятые из оливы. Через узкое окно было видно неподвижное, светло-зеленое море, пронизанное южным солнцем.

В прохладном монастырском дворике, в тени кипарисов и романо-готических колонн, глаза мои, ослепленные солнцем и морем, отдохнули и сердце снова забилося медленно и мерно — одним ритмом с полдненным отдыхом. И равномерно звучали слова монаха, как струйки воды, текущие из каменных стигматов святого Франциска, чья статуя возвышалась посреди двора. Молодой монах рассказал мне о том, как Провидение обратило на истинный путь блаженного Марка. По-видимому, ему часто приходилось повторять этот рассказ посетителям монастыря: его тихом голосе чувствовалась усталость, может быть, отрешенность от земной суеты.

«Давно, лет пятьсот назад, — начал он, — в нашем городе жил юноша по имени Марко. Он был знатного патрицианского рода Ивеличей. Молодость его была подобна молодости святого Франциска: Марко предавался всем излишествам и порокам. Более всего любил он, в обществе таких же, как он, богатых бездельников, нападать на турецкие или венецианские корабли. Для своих собутыльников Марко слагал песни, прославляя вино и женщин. Вскоре имя его стало известным за пределами его родного города.

Марко и друг его Филипп были влюблены в одну девушку. Ее звали Мария. Она была хороша собой; ее семья пользовалась всеобщим уважением. Но нравственные качества Марии не отвечали ее внешности и положению.

Оба друга нравились ей, и вскоре оба стали ее любовниками. Все же Марко и Филипп продолжали быть друзьями. По-видимому, сердца их были столь испорчены, что в них не нашлось места даже для ревности. Соперники сделали сообщниками.

Дом Марии находился на соборной площади. Ее комната была в третьем этаже; окно выходило в узкий и пустынный переулок. Вы, наверное, заметили, что старые палац-

цо в нашем городе построены из гладкого хварского камня. Взобраться на третий этаж и проникнуть в комнату через окно — дело нелегкое. К тому же ночью могла каждую минуту появиться городская стража. Вдвоем было гораздо легче преодолеть все затруднения.

Друзья сговорились и решили, с согласия Марии, чередоваться: одна ночь будет принадлежать Марку, следующая Филиппу. Так прошло несколько месяцев, и никто в городе не знал о их похождениях. Пока один из друзей находился у Марии, другой сторожил на улице, иногда — до зари.

Однажды, как обычно, друзья собрались к Марии в глухой час ночи. Была очередь Марка. Когда по условленному знаку была спущена из окна веревочная лестница, Филипп стал умолять своего друга уступить ему Марию на эту ночь. Марко согласился.

Он взял плащ и шпагу Филиппа, помог ему взобраться наверх к Марии и остался ждать внизу. Вскоре его начало клонить ко сну. Он стоял, притаившись в воротах соседнего дома. Дрема все сильнее одолевала его. Когда он пришел в себя, ему показалось, что прошло уже много времени; беспокойство овладело им. Но все тихо было кругом, и все имело привычный вид. Лишь окно в комнате Марии было наглухо заперто. (Обыкновенно оно оставалось открытым). Прошло еще несколько минут, и вдруг окно растворилось и что-то грузное упало к ногам Марка. Освещенная полной луной, перед Марком лежала голова Филиппа. Не помня себя от ужаса, Марко бросил шпаги и плащи и побежал прочь. Где он скитался всю ночь, он никому никогда не рассказал. Утром он постучался в дверь нашего монастыря, где пробыл год в строгом послушании, не желая видеть никого, кроме своего духовника. Он оставил все мирские заботы и не сочинял более стихов. Лишь незадолго до смерти брат Марко написал поэму о Марии Магдалине. Рукопись хранится у нас в библиотеке».

Я покинул монастырь под вечер. В порту все настойчивее ревела сирена парохода, уходившего в Аргентину. Я провел несколько часов на террасе приморского кафе. Из открытого окна соседнего дома струилась южная, сладострастная музыка. И казалось, что пальмы широкой набережной пронизаны ее легким хмелем.

Уже вошла луна и море засверкало магическими переживаниями. Запах соли и гниющих водорослей смешался с почти бесплотным ароматом неизвестных цветов. Выйдя из кафе, я вскоре очутился на соборной площади. На ней не было ни живой души. У ступеней собора, бывшей усыпальницы цезаря, полускрытый римской колоннадой, лежал сфинкс, много веков тому назад привезенный из Египта. Вокруг теснились высокие старинные дома из гладкого хварского камня с мертвыми гербами. Один из них был дом Марии. Мне показалось, что я узнал его — и герб над дверью: три цветка «полибастра» и высокое, наглухо запертое окно, выходящее в узкий, нелюдимый переулок...

И мне почудилось, что я когда-то видел Марию; чтобы лучше припомнить, я закрыл глаза. Тогда из пестрого тумана возник орлиный профиль молодого Данте на фреске Джьотто, и глаза (они были полузакрыты) с длинными ресницами, и чувственный рот, и нежная закругленность плеч. И я уже не понимал, где я и что со мною. Почувствовав головокруженье, я прислонился к старинным воротам соседнего дома...

* * *

И мне показалось, что время движется бесконечно медленно и что прошли века. В ушах все властней звучала сладострастная музыка и откуда-то доносился вкрадчивый запах неизвестных мне цветов. И казалось, что я ощущаю всем своим существом сладостное прикосновение почти бесплотного тела и что широко раскрытые, слегка затуманенные глаза смотрят на меня в упор, не видя меня. И вдрут

смертельный ужас пробежал по всем моим жилам. — Но я не пришел в себя, лишь под ногами ощутил каменные плиты улицы. На них, освещенная полной луной, лежала **моя окровавленная голова** и я помутневшим взором смотрел на нее и чувствовал, что жизнь уходит от меня и сознание мое меркнет.

Когда я очнулся, луна все так же сияла на чистых бледно-синих небесах. Лучи ее падали почти отвесно на портал собора и на сфинкса, притаившегося у входа. На мгновение мне почудилось, что у сфинкса лицо Марии, и тогда, собрав последние силы, я обратился в бегство. Через несколько минут я очутился на людной улице около ярко освещенного кабачка.

В ту же ночь я навсегда покинул этот город.

Лишь иногда во сне до меня доносятся звуки магической музыки и ослабевший запах неизвестных цветов. Тогда мне мерещится сфинкс с полузакрытыми глазами и тонким девичьим профилем.

И. Голенищев-Кутузов

ЗВЕЗДНАЯ ЕВА

Легенды о Лилит

Ее колдовские волосы были первым
золотом мира.

Данте Габриэль Россетти.

Сказания о Лилит тревожили воображение многих европейских поэтов нового времени. Лилит, райская жена Адама, проявляется в мировой поэзии или как изначальная, роковая сила, звездная Ева, равная по своему достоинству Адаму, даже превосходящая его красотой и мудростью, или же как обольстительно-губительное существо, связанное с демонами, которые стремятся подчинить себе первого человека.

В последнем номере «Ревю де литератор компарэ» (Париж, 1932) мы находим чрезвычайно интересную статью А. М. Киллена — «Легенда о Лилит». Автор исследует источники легенды, как в древнейший период человеческого развития, так и в новое время, от вавилонского пленения и Библии до произведений современных писателей — Гийома Аполлинера и Бернарда Шоу. Мильтон в «Потерянном Раю», Гете в «Фаусте», Виктор Гюго в поэме «Конец Сатаны», Реми де Гурмон в «Лилит», английские лирические поэты Китс и Данте Габриэль Россетти — преломив каждый через свое обособленное сознание эту легенду, воссоздавали древний образ астральной Евы.

Но, быть может, наиболее проникновенное, мы сказали бы даже гениальное, понимание этого уже веками мучащего человечество образа мы находим в стихотворении Федора Сологуба, оставшемся неизвестным западноевропейскому исследователю.

Я был один в моем раю,
И кто-то звал меня Адамом.
Цветы хвалили плоть мою
Первоначальным фимиамом...

Когда ступени горных плит
Роса вечерняя кропила,
Ко мне волшебница Лилит
Стезей лазурной приходила.

И вся она была легка,
Как тихий сон, — как сон безгрешна,
И речь ее была сладка,
Как нежный смех, — как смех утешна.

И не желать бы мне иной,
Но я под сенью злого древа
Заснул... проснулся, — предо мной
Стояла и смеялась Ева...

Когда померк лазурный день,
Когда заря к морям склонилась,
Моя Лилит прошла, как тень,
Прошла, ушла, — навеки скрылась.

(Пламенный круг — Личины переживаний).

Откуда берет свое начало сокровенная Лилит, чьи длинные белокурые волосы, как сети, уловили сердце Адама? Всегда юная и вечно прекрасная соперница Евы, она, созданная божественной силою, возмутилась против нее и, не желая подчиниться Адаму, вечно стремится не только быть ему равной, но даже покорить его своей воле. Уже древнейшие предания отождествляют Лилит с Изидой. Известный оккультист Эдуард Шюре* так передает древнеавилонскую легенду, которая дошла до нас благодаря раскопкам в Месопотамии.

Бог Ассур, Люцифер древней Халдеи, был низвержен после создания планеты Юпитера с другими взбунтовавшимися ангелами за то, что, незаконно воспользовавшись силою божественного слова, создал Иштар-Лилит, чтобы с

* L'Evolution divine du Sphinx au Christ, p. 230.

ней вместе царствовать над миром. После его низвержения Лилит напрасно ищет его повсюду, — все прежние обличия мира изменились, земля стала твердой и вокруг нее образовалась бездна, которую, как комета, прорезывает Лилит в своем падении.

Она взывает, наконец, к князю тьмы, и из первого мрачного облака слышит голос: «Отдай твою звездную тиару, или ты не пройдешь». Иштар-Лилит отдает свою тиару и вместе с нею теряет божественную память. У второго круга она должна отдать свои крылья и уже не может более подняться в высшие сферы. Перед третьим облаком мрака она видит чудовищ, которые домогаются ее светоносной туники. Она приносит и эту жертву и, обнаженная, замечает, что тело ее материализовалось. Тогда из бездны восстают красные языки пламени. Оттуда слышится властный голос: «Что хочешь ты от меня?» — «Где Люцифер?» — вопрошает Лилит. — «Далеко отсюда, в недоступном лимбе, на дне пространств. Ты ищешь напрасно. Ибо отныне я твой муж». — «Ты лжешь», — восклицает Иштар. «Если ты хочешь видеть твоего архангела, — гремит страшный голос, — я могу показать его тебе, но с условием, что ты будешь моя». «Когда я увижу его, — отвечает Лилит, — он освободит и унесет меня в высшие области. Пусть явится он». И тотчас же пред ней предстает скорбный архангел, крылья его изломаны, руки и ноги поражены молниями, но гордость его не побеждена. Видение это вскоре исчезает, а из огненного облака выходит Ариман, повелитель низшей земной природы, в виде Дракона. Огненный язык свой чудовище направляет на Изиду. Но он не в силах победить ее. — «Я все отдам ради моей любви, — говорит Лилит-Иштар, — во мне осталось мое сердце, непобежденное, чье биение не могут остановить никто, даже бессмертные боги. Им я раздвину своды бездны и отныне я нисхожу к людям, они укажут мне обратный путь к Люциферу».

Но на этой высоте легенда о Лилит не удержалась долго. В ассирийской, вавилонской и суммерийской клинописи Лилит низводится на степень элементарного женского духа, она входит в трицу демонов, похищающих свет, вызыва-

ющих бури и стихийные бедствия. (Charges Fossly — «La Magie Assyrienne». Paris, 1902. p. 57-71).

В этих надписях мы впервые находим форму ее имени «Лилиту», «Лилит» или «Ардат-Лили» (что значит похитительница света). В Месопотамии ей начинают приписывать похищение новорожденных. Постепенно образ ее сливается с греческими ведьмами — ламиями, которые также, по народному верованию, умертвляли детей. Образ этот заимствовали Библия и Талмуд. В книге пророка Исайи, часть которой была, как предполагают ученые, написана во время вавилонского пленения, мы находим следующее пророчество о гибели нечестивого города Эдома: «Животные пустыни там встретят диких собак. Там будут призывать друг друга козлы, и призрак ночи, Лилит, там найдет свое жилище и место своего успокоения».

Не без основания историки религий полагают, что демонология Ветхого Завета, как и учение об ангелах, оформились под ассиро-вавилонским влиянием. Ее унаследовали писатели христианской эпохи. Так, в начале нашей эры мы находим в комментариях св. Иеронима к Исае упоминание Лилит вместе с драконами, кентаврами, сатирами и ламиями. Другая оккультная струя еврейской мысли занималась толкованием двух мест книги Бытия (1,28 и 11,18-23), где говорится сперва о том, что: «Бог создал человека по своему образу и подобию; Он создал человека и женщину», а затем уже рассказывается как бы о вторичном сотворении жены Адама из его ребра.

Возникли споры о том, была ли Лилит изначальной женой Адама или демоническим существом, соблазнившим его уже после падения? К этой мысли склоняется Кабала. Как известно, текст Кабалы восходит к X веку нашей эры. Но он передает традиции александрийской эпохи, когда греческая философия смешалась с иудаизмом и христианством. Книга Зохара (XII или XIII век) учит о том, что Лилит отражает нижнюю сферу красоты, низшее женственное начало (Афродита Земная неоплатоников), которой противопоставляется «Вечная Матрона» (Афродита Небесная, Приснодева). В кабалистических легендах говорится о том, что

Лилит рождена гневным отблеском меча Серафима, стоящего у врат Эдема.

Лилит приближается к апокалиптической блуднице.

Традиции этой родственны легенды о том, что после падения Адам, охваченный угрызениями совести, 130 лет жил вдали от Евы и в это время — о, странное покаяние! — *сошелся с демонической Лилит*, с которой и зачал целый легион бесов. Есть даже легенда о том, что и праматерь Ева одно время изменяла Адаму с самим сатаной. От этой незаконной связи возникло также множество демонов. Только воссоединение Адама с Евой принесло человечеству успокоение. Тогда, повествует Талмуд, Лилит стала преследовать новорожденных. Раввин Нафтали дает следующий рецепт против Лилит: «Лилит приходит в ярость против бедных маленьких израильтян, главным образом, в ночь перед обрезанием. Для того, чтобы избавиться от ее влияния, следует приготовить хороший ужин и позвать несколько раввинов, которые будут читать Талмуд. Демоны, отличающиеся по своей природе нетерпением, не могут выдержать чтения столь священной книги и обращаются в бегство». (Drach, «De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue», II, p. 309).

При рождении ребенка, раввины до самого последнего времени применяли следующую формулу для устрашения бесов: «Адам и Ева с нами, Лилит прочь!» Ребенка охраняли от скверных влияний амулетами, на которых были начерчены имена трех ангелов: «Сеной, Сансеной, Саменгеллоф».

Традиционный образ золотоволосой Лилит кабалистов, демонической обольстительницы, мы находим в северной Вальпургиевой ночи «Фауста».

Весьма вероятно, что на образ Лилит в «Потерянном Раю» Мильтона влияла также Кабала.

Нам кажется также, что образ панночки в гоголевском «Вие» сложился под влиянием еврейской мистики. От шинкарей-евреев Украины (как тот, что потчевал горилкой казаков сотника в «Вие») Гоголь мог слышать предания Агады и Кабалы. В панночке — все элементы кабалисти-

ческой Лилит. Слуги ее отца рассказывают о том, что она похитила ребенка глупой бабы-шепчихи. Превращение панночки-ведьмы из старухи в сладострастный женский облик (после того, как Хома Брут проехался на ней верхом) соединено с сексуальными магическими силами, которыми легенды щедро наделяют Лилит. Она губит «философа», умеренно предающегося еде и возлияниям, ибо соединена с низшим духом земли, с Ариманом-Виём. Сама она не может в церкви из гроба увидеть Хому, который очертил вокруг себя магический круг. Она находит его лишь с помощью Вия, его земными глазами, ибо после смерти, став люциферской силой, уже не имеет непосредственного соприкосновения с материальным миром.

Так в русской литературе отразились оба лика легендарной Лилит — вавилонская «Похитительница Света», Иштар-блудница, отдававшаяся Ариману-Вию (заметим, что к образу этому тяготел всегда Розанов), и другая Лилит, астральная, безгрешная, первозданная Ева, по которой всегда тоскует Адам.

Когда померк лазурный день,
Когда заря к морям склонилась,
Моя Лилит прошла как тень,
Прошла, ушла, — навеки скрылась.

Образ этот зачаровал поэтов русского символизма. О нем говорили на башне Вячеслава Иванова. Он вспыхнул магическим, голубым пламенем в Огненном Кругу Сологуба.

М. Первухин

ИЗ МИРА ТАИНСТВЕННОГО

Так называемые «сверхъестественные» явления испокон веков интересовали человечество, интересует его и теперь, да и впредь будут интересовать, как интересует все то, что не поддается объяснению и что поэтому кажется связанным с миром потусторонним, или, если хотите, с пресловутой «областью четвертого измерения». Я лично совсем не мистик, да никогда мистиком и не был, но всем «сверхъестественным» живо интересуюсь, и на протяжении многих лет, подстрекаемый вполне законным любопытством, собираю подвертывающийся под руку материал, стараясь разобраться в нем объективно.

Дело это — далеко не такое простое и легкое. Уж не говоря о том, что на каждом шагу приходится наталкиваться на просто недобросовестные показания, на людей, которым почему-то нравится, как говорится, морочить себе подобных и искусственным образом производить «явления», не останавливаясь и перед грубейшим мошенничеством, — почти столь же часто приходится слышать вполне добросовестные, но, увы, лишённые значения показания частных «свидетелей» и «очевидцев», — которые на поверку оказываются склонными галлюцинировать, а нередко и душевнобольными.

Всего два года тому назад мне в Риме пришлось возиться с одной уже немолодой русской писательницей, имя которой вынужден по вполне понятным причинам умолчать. Дама эта наблюдала частенько всяческие, по большей части достаточно зловещие «явления». Ей являлись уродливые призраки. Например, — однажды, в Риме же, она видела, и притом днем, сползавшего по отвесной стене старого католического монастыря, наподобие гигантской ящерицы, монаха в капюшоне. В другой раз, сидя в своей комнате, боком к выходящей в коридор двери, она узрела поднимающуюся сквозь пол к потолку полупрозрачную фигуру монахини в длинном черном одеянии.

Что она эти призраки *видела*, — я в этом не сомневаюсь. Но беда-то в том, что эта несчастная интеллигентка жестоко расстроила себе нервы, злоупотребляя ядовитыми наркотиками, и дошла до такого состояния, что иной раз по

целым часам галлюцинировала. Значит, — тут были не «призраки», — а фантазия больных нервов, игра расстроенного воображения.

В 1906 году, живя в Берлине, в семье некоего бравого пруссака Бартеля, я наблюдал его трехлетнюю дочурку. Крошечная немочка однажды подняла крик: войдя в мой рабочий кабинет, где я сидел за письменным столом, — увидев полутемном углу какое-то чудище.

Дня через два новый переполох: девочка ясно увидела прошедшую сквозь капитальную стену «черную женщину».

По моему настоянию, мои квартирные хозяева вызвали врача, который, исследовав ребенка, обнаружил зловещие признаки какой-то мозговой болезни. Через два или три дня у девочки обнаружилось, действительно, воспаление мозга на туберкулезной почве. Ребенок умер.

Ясное дело, — те «видения», — которые ребенку представлялись, — были просто результатом уже гнездившейся в мозгу страшной болезни. Это были *симптомы* еще не замеченной окружающими болезни. Но родителей моей маленькой приятельницы уже нельзя было разубедить: они непоколебимо уверовали в мистический характер указанных явлений, и ни с какими доводами против такого нелепого толкования считаться не хотели, отвечая на эти доводы так:

— Говорите, что хотите, а ведь Эльза была совершенно здорова, когда увидела «Черную женщину». Это приходила ее смерть...

Там же, в Берлине, в семье русского политического эмигранта, десятилетний мальчуган Ивасик, играя перед домом на бульваре, увидел, как у входа в дом остановились погребальные дроги и как факельщики вошли в квартиру родителей Ивасика. Это было «видение». Несколько дней спустя беднягу Ивасика раздавил чей-то автомобиль. Тогда зловещее видение стало уже истолковываться как предзнаменование приближавшейся к Ивасику смерти. Но произведенное вскрытие ребенка обнаружило, что он страдал туберкулезом мозга в начальной стадии. Таким образом — «видение» опять сводится к простой галлюцинации боль-

ного субъекта. То же обстоятельство, что описанная смерть действительно постигла ребенка, — является простой случайностью, которая механически заслонила истинный характер видения и придала ему ложное значение зловещего пророчества. Но пойдите же, докажите это суеверным людям!

Вспоминаю курьезный случай с моим дальним родственником Семеном Павловичем Дмитриевым, жившим в конце прошлого века на Волге. Ему частенько приходилось разъезжать по торговым делам по Волге на пароходах. Как-то раз, собираясь поехать, он накануне отплытия увидел страшный сон: снилось ему, что он сел на пароход компаши «Самолет», а на дороге этот пароход загорелся, и многие пассажиры сгорели или потонули.

Сон произвел такое сильное впечатление на Семена Павловича, что он, уже снеся на пароход свои вещи, уже разместившись в каюте, вдруг испугался и выскочил с парохода. Сутки спустя пришло сообщение о том, что пароход, действительно, сгорел и при катастрофе погибли многие пассажиры.

Не ясно ли, что сон моего родича был сном пророческим? Нет, далеко не «ясно» — ибо суть вот в чем. Начитавшись смолоду историй о катастрофах с плавающими по Волге судами, Семен Павлович видел тот же самый мнимо-пророческий сон многократно и раньше накануне отправления в плавание, — но не придавал этому сну значения, и ездил, и все обходилось благополучно. А посему многим таким снам и придавалось значение сна не пророческого. Но вот, случайно таки сгорел пароход, — и тогда сну, могущему быть объясненным самым естественным образом, — было придано уже значение сна сугубо пророческого.

Еще пример ложно-пророческого сна: как-то, лет двадцать тому назад, в дни моего пребывания в Ялте, моя жена во сне увидела, что к нам приехала одна из ее подруг детства. Два дня спустя, действительно, эта подруга детства приехала в Ялту и явилась к нам. Значит, сон был пророческим. Может быть. Но, анализируя обстановку, можно эту версию и отбросить. Дело в том, что моя жена, живя в Ял-

те, — тосковала по покинутым нами местам, мечтала о том, чтобы кто-нибудь из родственников и знакомых к нам приехал погостить, и неоднократно видела соответствующего содержания сны. Однако, из нескольких десятков или даже сотен таких снов осуществился только один. И речь шла о том именно лице, приезд которого был особо желанен сновидице.

Значит, — тут опять гораздо проще объяснить дело случайным совпадением, а не каким-нибудь «таинственным явлением».

Должен, однако, заметить, что в дни своей юности я довольно долго наблюдал одну сильно истеричную пожилую девицу, сны которой столь часто сбывались, что объяснить это случайным совпадением было уже невозможно. Так, — она почти безошибочно предугадывала, благодаря своим сонным видениям, — разные события в жизни родных и знакомых. Анализируя ее пророческие сны, я иной раз находил им естественное объяснение в работе подсознания. Так, например, — я мог принимать такое объяснение в том случае, когда сны моей приятельницы предвещали заболевание какого-нибудь ее знакомого: ведь подсознание во многих случаях оказывается неизмеримо более восприимчивым, чем сознание. Оно может замечать такие симптомы в состоянии здоровья близких данному субъекту людей, которые от сознания ускользают. Но это объяснение уже не годится, раз речь заходит о случаях другого рода. Например, моя знакомка бесчисленное число раз предсказывала на основании своих снов приход письма, неожиданную получку денег, приезд кого-нибудь. Процент сбывавшихся снов этого рода был слишком высок, чтобы принять для объяснения так называемый закон вероятностей. Феномен этот для меня, да и для неоднократно производивших над моей приятельницей наблюдения харьковских врачей так и остался загадочным.

Равным образом, не нахожу объяснений некоторым «видениям» моей жены. Вот одно из таких видений, происшедшее в Ялте в 1908 году.

Вернувшись домой из моей редакции, я услышал от моей жены совершенно спокойное заявление:-

— А к нам, представь, Валентина Ивановна приехала. Только держала себя как-то странно: пришла с пристани без вещей, едва поздоровалась и сейчас же ушла в Александровскую больницу. Говорит — там ей будут делать какую то операцию.

— Позволь! Но ведь Александровская больница не в Ялте, а в Харькове! Да и каким образом Валентина, только что прибывшая с парходом, — могла успеть сговориться с врачами больницы насчет операции? Что-то путаешь!

— Ну, я уж не знаю. А только она так и сказала: пойду, мол, в Александровскую больницу, там мне будут делать операцию...

Я съездил в ялтинскую городскую больницу, побывал и в двух частных лечебницах, — и нашей знакомки там не нашел. Убедился, что у моей жены была галлюцинация, но через несколько дней мы получили из Харькова письмо, в котором общие знакомые нас извещали, что Валентина Ивановна», внезапно заболевшая, — была отвезена в Александровскую больницу, и там подвергнута хирургический операции. Время совпадало с видением. Объяснить происшедшее простым совпадением — трудно, тем более, что о заболевании Валентины мы не знали, возможность ее обращения в Александровскую больницу предвидеть было нельзя. Работа проницательного подсознания тут не могла иметь места.

Другой близкий к этому случай: однажды, живя уже на Капри, моя жена увидела в нашем виноградничке медленно проходившую даму, в которой узнала малороссийскую артистку З. Позвала меня, заявляя:

— Пришла З. Только у нее почему-то лицо и руки забинтованы!

Я оторвался от работы и вышел в сад. З. — там не было. Значит, — «привиделось». Галлюцинация.

Недели полторы спустя нашел в «Приазовском крае» заметку:

— Такого-то числа премьершу гостящей у нас малороссийской труппы З. постигло серьезное несчастье. Завивая волосы в уборной городского театра, она опрокинула на себя спиртовку, спирт загорелся, пламя перешло на платье уважаемой артистки. Сбежавшиеся товарищи спасли З., но у нее сильные ожоги на лице и на руках.

Тут опять «простым совпадением» объяснить дело слишком трудно. Приходится прибегнуть к версии передачи мысли на расстоянии.

Общеизвестным является феномен так называемого «ложного воспоминания» или «ложной памяти»: вы в первый раз в жизни попадаете в данную местность, в данный дом, — а все вам кажется здесь таким знакомым, что вы никак не можете отделаться от мысли, что вы это уже видели. Но так как видеть вы этого не могли, — то рождается предположение, что здесь вы побывали не в нынешней жизни, а когда-то раньше. (Вневременность души.)

Тут играет роль определенный закон ассоциации идей, и опять-таки примешивается все то же любящее подшучивать над человеком подсознание.

Но бывают и такие случаи, когда действует что-то другое. Так, например, — в конце прошлого века, мой тогда гостивший в Италии старший брат, художник К. Первухин, — получив от нас из Харькова сообщение о том, что наша семья перебралась на другую квартиру, — увидел во сне эту нашу новую квартиру. Сон был так жив, что брат, проснувшись под его впечатлением, — нарисовал план нашей новой квартиры, разметил место нахождения мебели и, наконец, — отметил подробность, — которая от нас, обитателей квартиры, — ускользнула: несколько необычайную форму потолка в одной комнате. План этот оказался совершенно соответствующим действительности, как будто рисовавший его в самом деле побывал в нашем жилище и помнил все ее особенности. На самом деле, — этого *не могло быть*, — ибо дом был выстроен только за два года перед этим, а брат мой не был в Харькове уже лет пять. Но какая-то странная связь существовала. Только по приезде брата в Харьков, когда мы попытались разобратся, в чем тут суть, — нам, к

нашему несказанному удивлению, удалось установить, что этот именно дом был выстроен по чертежам и под надзором нашего отца, землемера по профессии.

Тут опять намек на передачу мысли на расстоянии.

Теперь позвольте рассказать несколько знакомых мне подлинных историй, в которых имеется и излюбленный читательской массой «страшный» элемент.

Первую из этих историй мне рассказал герой странного происшествия, хорошо знакомый рижскому обществу бывший генерал русской службы, рижанин родом, Виктор фон Э.

Вот его рассказ текстуально:

— <В> 1908 году я был командирован из Петербурга в Ивангородскую крепость как офицер генерального штаба. До того я в Ивангороде ни разу не был. Поселившись в крепости, — я оказался заваленным служебными делами до такой степени, что не имел возможности входить в сношения с посторонними. Ни знакомств, ни разговоров, ни малейших причин к мистической настроенности. Несколько дней спустя мне пришлось, опять-таки по служебным делам, сделать поездку по железной дороге. Я вез с собою казенные документы, и все мои мысли были заняты именно этими документами крайне сухого содержания: сметами разных сооружений и ведомостями со справочными ценами. Мне предстояло делать доклад, и я, поместившись в вагоне, перебирал в уме разные детали этого доклада. Вагон, в котором я ехал, — был вагоном-микст I и II классов. Я сел во втором классе, где не было ни одного пассажира. Приблизительно четверть часа спустя я увидел или, вернее сказать, почувствовал, что из-за довольно высокой спинки дивана на меня кто-то пристально смотрит. Поднял глаза — увидел голову какой-то старухи, одутловатое желтое лицо, круглые черные глаза, странно искривленный рот. На лице — выражение острого и напряженного, может быть — тревожного любопытства. Первой моей мыслью было — что я ведь везу секретные документы. Не подглядывает ли эта женщина? Но сейчас же успокоился: все документы — в запортом на ключ портфеле. Однако, меня нервировало это бес-

церемонное выглядывание незнакомой мне женщины из-за спинки дивана. Чего ей нужно?

Я посмотрел на нее сердито. Она как будто сконфузилась, заискивающе заулыбалась и спряталась. А минуту спустя — опять высунула голову и стала рассматривать меня, смешно морща лоб. Я не выдержал и спросил:

— Чего вам нужно?

Испуганно спрятала голову. А потом опять заглянула в мое отделение, но уже сбоку. Я погрозил ей пальцем, потом не выдержал, встал и перешел на другое место.

Опять то же назойливое выглядывание из-за спинки дивана и киванье головою.

— Сумасшедшая, что ли? — подумалось мне.

Встал и прошел по коридору. Заглянул в то отделение, где сидела старуха. К моему несказанному удивлению, ее не оказалось. Это так озадачило меня, что я невольно осмотрел весь вагон, заглядывая и под диваны. Ни малейшего следа незнакомки. Я сел — и опять увидел поднявшуюся над спинкой дивана уродливую голову.

Тогда я уже просто закричал на нее и даже погрозил ей кулаком. Спряталась.

— Постой же! Я тебя поймаю! — решил я. И сам заглянул через спинку дивана. Женщины не было, но на диване стояла самая обыкновенная корзиночка с ручкою, какие носят торгующие на местечковых базарах яйцами и зеленью бабы. Но куда же девалась сама торговка?

Я вошел в то отделение, — и не увидел ни женщины, ни даже корзинки. Это было уже совершенно непонятным. Выйти из вагона торговка не могла: ей пришлось бы пройти к двери мимо меня. Дверь в отделение I класса была заперта на замок. Что за чертовщина?

В это время поезд подошел к маленькой станции. У окна показался рослый и молодцеватый обер-кондуктор. Я позвал его и заявил о загадочном поведении и еще более загадочном исчезновении странной торговки.

Он смутился и ответил мне:

— Дозвольте, вашескорodie, просить вас перейти в другой вагон... Очень прошу, вашескорodie ...

Я машинально последовал его приглашению я перешел в другой вагон. Сидя там, стал соображать: из-за чего, в самом деле, я перешел из вагона в вагон, даже не спрося оберкондуктора, в чем дело?

Полчаса спустя поезд пришел на место назначения. Мне надо было высаживаться. Проходя по перрону, я услышал слова, сказанный обером начальнику станции:

— Вот, и их высокородие видели зарезанную. Только что видели...

Я обратился с вопросом: в чем дело?

Начальник станции смущенно осведомился, правда ли, что я видел «зарезанную торговку яйцами».

— Что за вздор!! — возмутился я. — Какая то старая еврейка, действительно, пялила на меня глаза из-за свинки дивана, а потом словно в воду канула...

Начальник станции еще больше смутился и переглянулся с обером:

— Доложишь по начальству — еще нахлобучка будет. А который уже раз «она» пассажиров» пугает! И что делать, — право — не знаю!

— Да в чем же дело?

Тогда они дали мне следующее объяснение: года за полтора до этого в этом вагоне неизвестными злоумышленниками с целью грабежа была зарезана старуха-еврейка, считавшаяся богатой торговкой. По обнаружении преступления, вагон несколько недель простоял на запасных путях, куда шло следствие, потом был снова пущен в обращение. Но с тех пор призрак убитой стал показываться пассажирам, особенно на том перегоне, где было совершено преступление. Вагон пользуется такой зловещей славой, что местные жители даже днем им не пользуются.

В. фон Э. говорят:

— Если я раньше знал эту мрачную историю, — то мог бы объяснить видение самовнушением. Если бы в вагоне были другие пассажиры, знавшие эту историю и находившиеся в нервном настроении, — на меня могла соответственным образом подействовать их настроенность, предрасположившая меня к галлюцинации. Но тут ничего ведь

подобного не было. И сам я был настроен вовсе не так, чтобы мне мерещились призраки. В чем же тут дело — я разгадывать не берусь.

Второй характерный случай произошел с моим и ныне живущим в Риге беженцем, бывшим полковником царской службы, в одном из городков Польши года за три до начала мировой войны.

Полковник Л., вместе со своим сыном кадетом Сашей, приехал вечером в городок С., чтобы навестить жившего там приятеля, военного врача. С вокзала приезжие пошли пешком к дому доктора, расспрашивая у встречных дорогу. Спутав улицу, — попали на окраину города. Оказались в безлюдном переулке, возле одноэтажного дома. Одно из окон этого дома было раскрыто, и в него выглядывала какая-то простоволодая пожилая женщина с плоским лицом.

Полковник обратился к ней по-русски, прося указать дорогу. Она в ответ принялась бормотать что-то так, как бормочут глухонемые субъекты, выученные говорить. Можно было догадаться, что говорит она по-немецки, — но нельзя было разобрать, что именно говорит.

Не добившись толку, пошли дальше. Совсем запутались, и только при помощи какого-то огородника-поляка наконец добрались до квартиры доктора. Там полковник заявил:

— Пришли бы получасом раньше, если бы смогли добиться толку у какой-то торчавшей из окна полоумной немки. Да нанес черт на глухонемую. Только мычала, как корова... Такая досада.

Врач заинтересовался:

— Да неужели же и вы, в самом деле, видели этот призрак?!

— Какой там еще призрак?! — возмутился Л. — Говорю же тебе — немка, глухонемая. Мычала что-то невразумительное.

— Но это же и есть — призрак. В доме третий год никто не живет. Местных жителей в переулок вечером и дубиной не загопишь.

— Что за чепуха. В наш-то двадцатый век?!..

— А «век»-то тут при чем же?

История призрака немки такова:

— Жил в С. капитан Сергей Вещилов или Вошилов. Увлекался сначала спиритизмом, потом теософией. Производил какие-то таинственные эксперименты. Однажды летом поехал в Германию, и оттуда вернулся уже вместе с обученной говорить пожилой и уродливой немкой. Странность отношений между сравнительно молодым и по-своему красивым капитаном и уродливой старухой-немкой стала бросаться всем в глаза. Казалось, немка имела над капитаном какую-то власть. Он был у нее в рабстве. Потом немка заболела и умерла, а капитан застрелился на ее могиле. Некоторое время спустя мальчишки, проходившие вечером гурьбою мимо жилища застрелившегося, увидели высунувшуюся в окно немку и смертельно испугались. Немка продолжает от времени до времени показываться, главным образом, в лунные ночи. Дом никем не обитаем: жители городка боятся даже показываться вечером вблизи.

Тут опять мы имеем такую обстановку, которая намечает возможность принять версию галлюцинации или игры соответствующим образом настроенного воображения, ибо Л. в первый раз в жизни был в городке, истории таинственной немки раньше не слышал, и о его «настроенности» и речи быть не может.

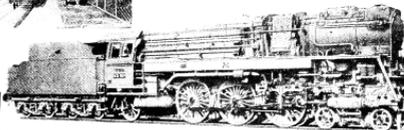
Эти странные истории я слышал от людей, которые под честным словом уверяют, что они были свидетелями описанных странных явлений. Рассказчиков знаю за людей серьезных. Привык им вообще верить. А можно ли верить и в данном случае, ей-Богу, не знаю...

Мечта и действительность

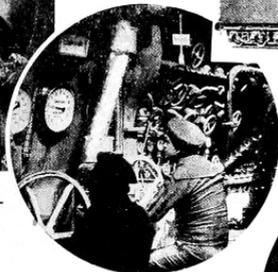
Жюль Вернь устарел...



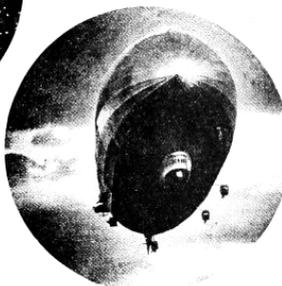
Направо — «Наутилус» Жюль-Верна. Направо — современная подводная лодка.



До сих пор принято говорить: «чистейшей воды Жюль-Вернь» для обозначения чего-либо фантастического, маловероятного. Между тем, Жюль-Вернь давно устарел: самая пылкая его выдумка кажется убожеством по сравнению с достижениями современной техники. Вот несколько примеров.



Наверху — отбытие с парижского вокзала Сень-Лазарь первого поезда. Внизу — паровоз-гигант, американских жел. дорог.



ПРОГРЕССЪ ТЕХНИКИ ДАВНО
ОБОГНАЛЪ ВЫДУМКУ
ФРАНЦУЗСКАГО РОМАНТИСТА...



Посреди — внутренность большого пассажирского самолета линии Лондонь - Парижъ. Направо — путешествие въ воздушномъ шарѣ по Жюль-Верну. Направо — «Графъ Цепелинъ» во время перелета черезъ океанъ.

В. Татаринов

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

Авторы различных утопий, наряду с изображением технического прогресса или новых форм социальной жизни, делают иногда попытки представить себе внешний вид человека грядущих времен. По недостатку ли воображения или потому, что внимание утопистов направлено преимущественно на технику и социальные преобразования, попытки эти далеко не идут, и даже такие авторы, как Гексли, предсказывавший появление новой — и довольно неприятной — морали и психики, принимают, что и в будущем люди в физическом отношении останутся прежними. Только немногие утописты предсказывают, что наши отдаленные потомки будут обладать непомерно большими головами.

Наоборот, некоторые биологи, ничего общего с утопическими фантазиями не имеющие, а исходящие из строго научных соображений, утверждают, что человек грядущих времен будет от нас весьма сильно отличаться.

Современный человек со всеми его теперешними анатомическими и фенологическими особенностями появился на Земле примерно 100-200 тысяч лет назад, в одну из последних «межледниковых» эпох, когда климат стал мягче и когда началось отступление сплошных ледников, одно время покрывавших всю Европу. Этот человек не сразу приобрел все свои нынешние биологические качества, а пережил процесс длительной эволюции. Стадии ее нам неизвестны и мы знаем только предшествующий тип человекообразного существа, сильно отличавшегося от современного человека, но и не похожего на человекообразных обезьян.

Эволюция, которую проделал человек, все еще не закончена и он продолжает меняться на наших глазах, однако эти изменения происходят так медленно и незаметно, что установить их можно только путем очень сложных наблюдений. Полемика для них является само человеческое тело, дающее доказательства предшествующей, исчисляемой миллионами лет, эволюции и позволяющее заглянуть и в будущее.

Некоторые органы нашего тела явно вырождаются, становятся «анахронизмами» и даже исчезают, другие, наоборот, развиваются и приобретают новое значение. У доис-

торического человека, например, ушные мускулы были подвижные и человек мог двигать ушами, как это делают животные. Эту особенность сохранили до сих пор отдельные люди, но двигательные ушные мускулы имеются у каждого из нас, только они потеряли способность к движению. Подвижные ушные мускулы были когда-то нужны предкам человека — теперь они потеряли значение и потому выродились.

Человеческая нога была прежде не только органом хождения, но и органом хватания — такую двойную функцию она до сих пор несет у обезьян. У человека эта вторая функция стала ненужной, нога служит только для ходьбы, а потому характер ее меняется. Большой палец и кости, к нему ведущие, становятся более длинными и крепкими, пятка разбивается, а стопа делается более выпуклой.

Тому развитию частей ноги, обращенных внутрь, соответствует ослабление частей, направленных наружу — мизинца и четвертого пальца. В будущем эти пальцы должны исчезнуть. Уже сейчас мизинец показывает признаки вырождения — он бывает непропорционально маленьким, а конечная и средняя фаланги его сливаются. Явление это вовсе не объясняется ношением обуви — оно наблюдается и у народов, всегда ходящих босиком, и замечено уже в глубокой древности: например, на детских мумиях в Древнем Египте. Улучшение гигиены ног этого процесса не остановит и нога человека будущего станет узкой, длинной и, вероятно, трехпалой.

Вся нога, несомненно, удлинится, но сохранит теперешнюю форму, так как кости бедра не показывают тенденции к эволюции и остаются почти такими же, какими были у самых древних наших предков. То же самое относится и к костям руки. Пять пальцев руки останутся, но станут длиннее и тоньше, т. е. будут лучше приспособлены для всякой точной и тонкой работы. Прогрессивное развитие двигательных ручных мускулов говорит за то, что рука станет значительно подвижнее.

Туловище станет короче — за счет удлинения ног — и в нем исчезнут самые нижние ребра, а также две верхних

пары. Предки человека имели больше ребер, чем теперь и большее их число достигало грудной кости. Еще и теперь у человеческих зародышей наблюдается 13 пар ребер, затем одна пара исчезает, что указывает на тенденцию к постепенному уменьшению количества ребер.

Вопреки предположениям некоторых утопистов, голова человека не увеличится, так как ее размерам положен естественный предел размерами женского таза и новорожденные с чересчур большой головой не смогут появляться на свет. Возможное увеличение головы объясняется обычно прогрессивным развитием мозга. Такой процесс, несомненно, идет и человеческий мозг эволюционирует и увеличивается, но для его развития нет надобности в увеличении черепа и необходимое пространство создается тем, что кости черепа становятся тоньше, а также и изменением соотношений между лицом и черепной коробкой — в пользу последней.

Развитие мозга вообще не связано с его объемом. Эволюция мозга выражается в усложнении строения серой мозговой коры, где в строгом порядке расположены 14 миллиардов нервных клеток и где различают до 200 ясно выраженных «мозговых полей», носителей определенных физиологических и психических функций. Количество этих полей будет все время возрастать и не исключено, что у будущего человека появятся новые нервные центры, а следовательно, и новые психические качества.

Черепная коробка увеличится за счет лица и голова наших потомков будет иметь сильно выпуклый лоб и походить на головы маленьких детей. Вследствие уменьшения нижних лицевых частей (челюстей) нос будет сильно выделяться на всем лице. Подбородок сохранить свою форму, но челюсти уменьшатся, так как зубы исчезнут. Уже теперь у европейцев не развивается четвертый коренной зуб, а третий (зуб мудрости) появляется поздно, плохо развит и быстро разрушается. С течением времени он вообще исчезнет и та же участь угрожает позже и резцам.

Процесс исчезновения зубов не зависит от неправильного питания, портящего зубы, хотя он им и ускоряется.

Этот процесс имеет чисто биологическое обоснование, заключающееся в том, что зубы уже не так нужны человеку, как прежде и остановить его не сможет ни самая тщательная гигиена зубов, ни рациональное питание. Американские врачи даже рекомендуют, в целях предупреждения возможных очагов заразы, отравляющей весь организм, вырывать все зубы и заменять их искусственными.

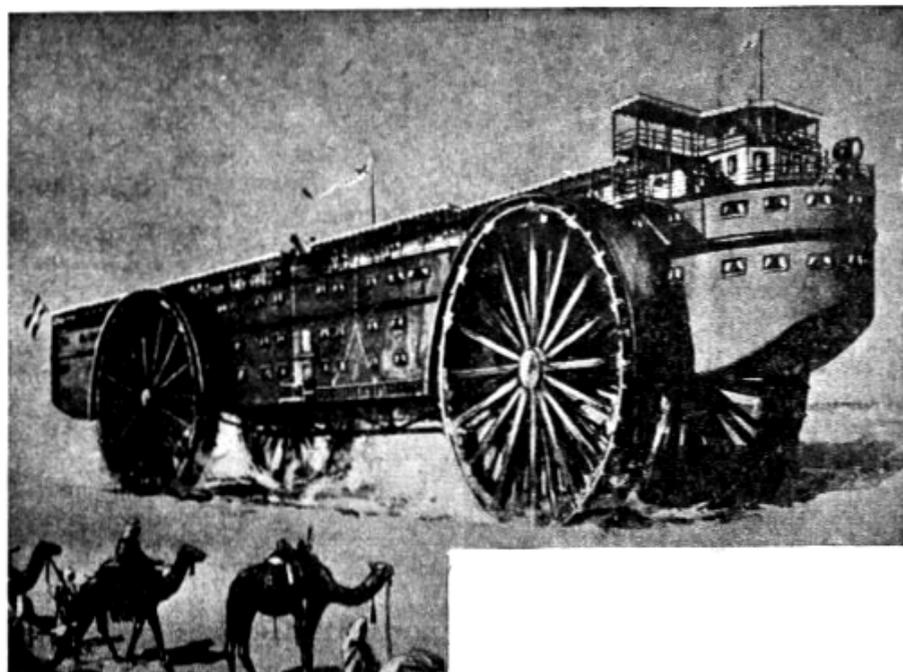
Эволюция коснется и внутренних органов. Можно предвидеть исчезновение червеобразного отростка и прекращение деления легких на доли — подобный процесс уже завершился по отношению к печени и почкам. Некоторые специалисты предполагают, что в будущем произойдет сильное развитие желез внутренней секреции и всей нервной системы, а также оживление обмена веществ, — все это повлечет за собой ускорение пульса и дыхания, повышение температуры тела и усиление блеска глаз.

Далее высказывается мнение, что у наших потомков сон будет короче, а период беременности удлинится — подобная тенденция вообще наблюдается у высших млекопитающих.

Многие биологи считают, что человек, подобно лошадям, слонам и обезьянам, произошел из карликовых форм и что, следовательно, когда-нибудь он станет еще выше, чем теперь. Уже сейчас зоны развития скелета долгое время остаются «молодыми», что дает возможность дальнейшего роста. Не исключено, что когда-нибудь появится раса гигантов, но это будет грозным признаком, так как палеонтология учит нас, что чрезмерный рост всегда сопряжен с концом эволюции и вырождением.

Наши потомки будут счастливее нас в том отношении, что жизнь их будет более продолжительной — такая тенденция наблюдается уже в наше время. Будут ли они вообще счастливее нас? Возможно, что в числе новых нервных центров, которые появятся в мозгу сверхчеловека, будут и такие, которые определяют более высокое моральное поведение людей и что, следовательно, люди как бы автоматически станут лучше, а следовательно, и счастливее, но тут мы уже попадаем в область утопии..

Эволюция органического мира происходит крайне медленно — биологи говорят о необычайно быстрой, «взрывчатой» эволюции лошадей — и все же от крохотного пятипалого «эогиппуса» (пра-лошади) до настоящей лошади прошло около 50 миллионов лет. Эволюция человека протекает еще медленнее и человек принадлежит к крайне консервативным видам. Он ходит прямо вот уже более миллиона лет, но нога его все еще не приняла окончательной формы аппарата для хождения. По меньшей мере в течение последних ста тысяч лет человек оставался таким же, как в наши дни, и пройдет, вероятно еще столько же лет, если не больше, прежде чем в нем проявятся более или менее ясно все те изменения, которые предсказываются медленными, но постоянно идущими эволюционными процессами, свершающимися в человеческом теле.



„Корабль“ пустыни.

Немецкий инженер Бишофъ разработалъ для передвиженія по Сахарѣ проектъ грандіознаго «сухопутнаго корабля», вмѣщающаго 250 пассажировъ и дѣлающаго 20 километровъ въ часъ. Наша фотографія изображаетъ этотъ сухопутный корабль, постройка котораго начнется въ ближайшемъ будущемъ.

В. Татаринов

МАРСИАНЕ ЗА ЗЕМЈЕ

Сенсационные разоблачения Уикхэма Стида* по поводу будто бы подготовляемой Германией бактериологической войны, естественно, возбудили всеобщий интерес к миру невидимых врагов человечества. К грозному призраку уничтожения всех цивилизованных центров при помощи ядовитых газов — призраку весьма реальному — прибавился новый кошмар мгновенного появления мириадом, несущих с собой Черную Смерть в таких размерах, которые далеко превосходят ужасы средневековых эпидемий, опустошавших Европу.

Надо, впрочем, заметить, что специалисты-бактериологи, и в первую очередь французские ученые, отнеслись скептически к сенсациям английского публициста и сразу указали, что чумная эпидемия представляет равную опасность не только для тех, кого она должна уничтожить, но также и для тех, кто ее вызовет. Ни одно из воюющих и невоюющих государств не сможет от нее уберечься и никакие карантинны, да еще в условиях войны, не окажутся действительными. А между тем, чумная бактерия является наиболее удобным «орудием войны», так как она переносится через воздух. Что же касается бацилл тифа и холеры, то они распространяются только через воду и неприятель должен заразить источники водоснабжения, что уже непросто, принимая во внимание, что большинство городов питаются водой, поступающей из артезианских колодцев, расположенных глубоко под землей. Кроме того, обороняющаяся сторона легко может предпринять массовую дезинфекцию источников водоснабжения, да и вообще эпидемии холеры и тифа, при современных медицинских средствах, не представляются столь грозными.

Но мир бактерий далеко еще не изучен и таит в себе немало сюрпризов. Бактерии являются самыми распространенными и самыми многочисленными обитателями нашей

* Генри У. Сид (1871-1956) – британский журналист и историк, в 1919-1922 гг. редактор «Таймс»; известен как ярый антисемит и германофоб (Прим. ред.).

планеты — по праву они могут утверждать, что Земля им принадлежит. Подсчет их количества — дело безнадежное, так как в одном кубическом миллиметре может свободно поместиться до 1000 миллионов бактерий. Их можно найти повсюду, в слоях стратосферы, куда проникают только саморегистрирующие баллоны метеорологических станций, в крови глубоководных рыб, населяющих пучины океана, в угольных шахтах, в сернистых испарениях вулканов, в воде глетчеров Гренландии и в песках Сахары.

подавляющее большинство бактерий, подобно остальным обитателям Земли, нуждаются в четырех основных факторах жизни: в свете, тепле, воздухе и воде. Но бывают и исключения из этого правила. Немецкий профессор Лизке нашел в рурских угольных слоях, залегающих на глубине 150 метров, угольных бактерий, живших в массе угля, где не было ни малейших признаков воздуха и воды, куда не проникал самый слабый луч света. Здесь эти бактерии жили, очевидно, в течение миллионов лет, чем-то питались, как-то размножались.

Удивительные угольные бактерии — не единственные в этом роде. Вот, например, «амилобактерии», в огромных количествах живущие в почве и растениях, совершенно не переносят воздуха. Кислород, без которого не может жить ни одно существо, через несколько минут убивает амилобактерий — наоборот, они великолепно чувствуют себя в атмосфере углекислоты, от которой погибают люди и животные. Столь же губителен кислород воздуха и для бактерий «тетануса», носителей страшной болезни — тот благодетельный воздух, которым мы дышим, является для них атмосферой совершенно чуждого, враждебного мира, необычайно ядовитым газом. Удушливый болотный газ — нормальная атмосфера для бактерий «метана», а «тиобактерии» с удовольствием дышат парами серы, непереносимыми для всех прочих жителей планеты.

Другие виды бактерий обходятся не только без воздуха, но и без тепла, света и воды, нарушая таким образом все законы земной жизни. Англичанин Мак Файнд охладил сосуд с «шаровыми» бактериями до минус 250 градусов —

бактерии свободно перенесли эту температуру, мало отличающуюся от температуры мирового пространства. Споры дрожжевых бактерий жили в таком холоде в течение многих месяцев. Эти же споры оказались способными переносить и страшный жар — при 120 градусах, т. е. выше точки кипения воды, при которой гибнут все живые клетки, споры дрожжевых бактерий не потеряли способности размножаться. Этот рекорд был побит другим видом бактерий, открытых Шпенглером в африканских алюминиевых коях — эти бактерии выдерживали температуру в 800 градусов выше нуля и практически оказывались несжигаемыми. Более того, эта температура особо благоприятно влияла на их размножение.

Английский ученый Сноун продержал бактерии вида «мегатерий» три года в сосуде, в котором не было ни малейших признаков воды — мегатерии доказали необязательность для них общего закона Земли: «без воды нет жизни». Другой вид бактерий был подвергнут еще более жестокому эксперименту — Поль Беккерель, работавший в знаменитой «лаборатории холода» в Лейдене, поместил споры бактерий в сосуд, из которого был выкачан воздух, совершенно их высушил, а затем охладил до минус 255 градусов. Споры бактерий, помещенные в эти «неземные» условия, без воздуха, воды и тепла, продолжали существовать,

Столь ненормальные условия бактерии могут выносить в течение огромных промежутков времени. Француз Галипе нашел споры бактерий, не потерявших способности размножаться, в свитках папируса, пролежавших в гробнице одного фараона в течение 2000 лет. Во времена великого Рамзеса поселились эти бактерии в толстом папирусе, на котором была начертана история царствования, и прожили так, без воздуха и воды, целых два тысячелетия.

Крохотные бактерии как бы насмеваются над всеми теми опасностями, которые несут смерть прочим обитателям Земли. Электрический ток, способный убить слона, безвреден для бактерий — в опытах Тиле и Вольфа бактерии свободно переносили в течение 10 часов переменный ток в 800.000 колебаний в секунду. Точно так же не действова-

ли на них и огромные давления — давление в 5 атмосфер убивает человека, глубоководные рыбы переносят давление в 500 атмосфер, но бактерии выдерживали давление в 3 тысячи атмосфер. Если бы наша планета была окружена атмосферой в 3000 раз более плотной, чем воздух, то все живые существа немедленно погибли бы — одни бактерии продолжали бы существовать.

Полное отсутствие воды и воздуха, холод мирового пространства, невероятный жар, ядовитые газы, электрические разряды, колоссальные давления — ничто не действует на бактерий, но поместите среди колонии бактерий мельчайшую пластинку золота или серебра и все бактерии немедленно погибнут, пораженные лучами, очевидно, испускаемыми благородными металлами и неуловимыми самыми чувствительными аппаратами — словно эти бактерии пришли на землю из какого-то другого мира, мира без золота и серебра.

Можно в самом деле думать, что некоторые виды бактерий попали на нашу планету из других миров, так как законы их жизни не имеют ничего общего с законами жизни всех прочих существ, населяющих Землю. Жизнь каждого организма состоит в постоянном приспособлении к условиям окружающей его среды — история развития жизни показывает, как все живые существа непрерывно приспосабливаются к меняющимся физико-географическим и биохимическим условиям и как выживают те, которые оказались наилучшим образом приспособленными. Люди, животные и растения так или иначе приспособлены к земным условиям, к определенному составу атмосферы, к количеству света, получаемого от солнца, к давлению, теплу и влажности — и только некоторые виды бактерий составляют исключение из этого общего закона. Наша атмосфера является для них ядом, наши ядовитые газы служат для них нормальным воздухом. Они могут обходиться без того тепла, которое необходимо для поддержания жизни, без той воды, которая играет столь существенную роль в строении нашего тела.

Вся наша планета для них чужой мир и приспособлены эти бактерии к иным мирам, чьи атмосферы для нас губительны, к давлениям для нас непереносимым, к электрическим разрядам, нас убивающим, к безводию, холоду и жаре, несущим нам смерть. Эти бактерии — дети иных планет, случайно попавшие на Землю. Здесь они должны забираться в толщи каменного угля, в сероводородные болота для того, чтобы найти некоторое подобие той жизненной обстановки, в которой выросли неисчислимые поколения их предков.

Каковы эти миры, приславшие к нам своих микроскопических обитателей — Меркурий, купающийся в лучах Солнца, Венера, окутанная сплошными облаками, Юпитер, представляющий собой лавовое море, Нептун или Уран, лишённые света, планетоиды, лишённые атмосферы или планеты иных солнечных систем? На эти вопросы ученые еще долго не смогут дать ответа. Кое-какие предположения возможны, однако, и в настоящее время.

Поверхность Марса кажется нам окрашенной в красновато-желтый цвет — по мнению астрономов, растения Марса скрашены не в зеленый, а в красный цвет и вместо хлорофилла содержат в себе таинственное красноватое вещество, разлагающее углекислоту воздуха, причем углерод идет на постройку растительных тканей. Это, конечно, лишь теория. Но вот у нас, на Земле, открыта бактерия «спириллум рубрум», содержащая в себе красное вещество, которое вполне заменяет зеленый хлорофилл растений, — это вещество поглощает из воздуха углекислоту и выделяет из нее углерод, который идет на образование их крохотных телец. «Спириллум рубрум», кроме того, отлично переносит крайне разреженную атмосферу, а мы знаем, что именно такая атмосфера имеется на Марсе — само собой напрашивается предположение, что эта бактерия явно марсианского происхождения.

Уэллс в одном из своих романов рисует пришествие марсиан на Землю, существ, не похожих ни на что земное, начинающих вести войну с людьми. Возможно, что фантазия английского романиста давно уже стала действительностью,

которую мы не понимаем, так как настоящие «марсиане», вторгшиеся на нашу планету, невидимы для невооруженного глаза. Эти марсиане — бациллы всевозможных болезней, микроорганизмы, чуждые земным условиям, явно показывающие свое неземное происхождение, случайно попавшие на Землю и объявившие смертельную войну человечеству, действуя при этом более опасным оружием, чем фантастические марсиане Уэллса.

Каким же способом попали на Землю эти микроскопические обитатели Марса или иных планет? В таких космических путешествиях нет ничего невероятного — микроорганизмы могли быть занесены на метеоритах, в потоках космической пыли или просто световым давлением — Никольс и Гуль доказали, что споры грибка «ликпердон», диаметром в одну пятитысячную миллиметра, начинают летать в безвоздушном пространстве под давлением световых лучей, испускаемых большой дуговой лампой.

Способность бактерий переносить страшный холод и такую же жару, обходиться без воздуха и влаги, позволяет им спокойно совершать странствования по неизмеримым безднам мирового пространства, переселяться с одной планеты на другую.

Наблюдая в микроскоп амилобактерий, бактерий тета-нуса или мегатерия, мы видим перед собою пионеров иных космических миров. Самые сильные телескопы не могут доказать нам обитаемости других планет — эту великую тайну раскрывает обыкновенный микроскоп, показывающий необычайное разнообразие форм вселенской жизни.

Приложения

Дон-Аминадо

ОМОЛОЖЕНИЕ

Рис. Civis'a

I

Она была американка,
Дочь нефтяного короля.
Но есть но всем своя изнанка.
Есть небеса — и есть земля.
Она ж была американка,
Дочь нефтяного короля.
Ей сорок лет.. Она девица.



Она девица в сорок лет.
Перед упорством преклониться,
Скажи, обязан ли поэт
За то, что некая девица
Еще девица в сорок лет?!
Бьет нефть на промыслах папаши,
А в жилах дочки стынет кровь.
Года не делают нас краше,

Желтеет зуб, редет бровь.
Что нефть на промыслах папаша,
Когда у дочки стынет кровь?!
Но мир — не конус усеченный,
А встречных вод круговорот.
В Париже жил один ученый,
К тому же — мой компатриот.
И, так как мир есть обреченный
Кипучих вод круговорот, —
То вам должно быть также ясно,
Как это ясно было ей,
Что бился наш ученый страстно
Над омоложением людей.
А если вам сие не ясно,
То это ясно было ей.
В своем открытии уверен,
Растил он розы на снегу!
Захочет он — и старый мерин,
Что жеребенок на лугу...



Есть поговорка: кто — уверен,
Тот будет есть свое рагу.
Но где рагу? И что есть розы,
Когда нет денег у меня?!

Так думал он, без всякой позы,
На склоне трудового дня.
В парижском небе рдели розы,
Как каждый день — на склоне дня.
Но в некий час, в тот час желанный,
Когда надежды полон взор,
Он слышит: говор иностранный
И замирающий мотор.

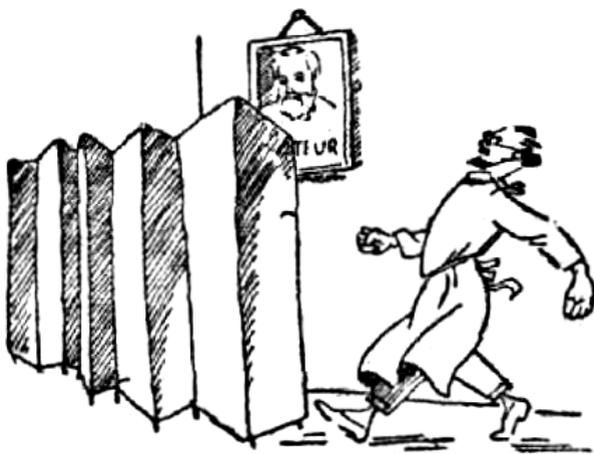


И вот, папашиной гаваной
Благоухает коридор.

II

Свершилось! О, пора работы!
Течет, струится градом пот...

Как оживить пустые соты?!
Она пришла. Легла. И вот,
Сорокалетние красоты
На растерзанье отдает.
Но ей помогут ли телята?!
Я понимаю, рамоли,
Который скиснул от разврата
И очутился на мели;
Но кто слышал, чтобы телята
В восторг весталку привели?!
О, этот возраст трижды грозный,
Характер этот, этот пол!
Какою жидкостью серозной
Ты оживишь засохший ствол?!
А сорок лет есть возраст грозный,
И вопиет насытый пол.
И он решился. Тень Пастера!
Врач должен жертвовать собой...



Другие способы — химера,
Есть способ старый и простой!

Пред ним мелькнула тень Пастера,
Кивнув седою головой.
Паситесь, мирные телята,
Вас ждет иная в жизни роль!
В восторге все от результата,
Дочь короля и сам король.
Бьет нефть превыше Арарата
И скептик ищет: где же соль? ...
Соль в том, что — соль не портит каши,
Вот, потрудился — и жених!



Берите промыслы папаши
И разрабатывайте их...
Ах, в мире все богатства краше.
Когда трудом достигнешь их!...

Брюссель, июль 1924 г.

Lolo

ОМОЛОЖЕННАЯ КЛАРА

Красная сказочка

«В Москве над Кларой Цеткиной
произведена операция омоложения».

(Из газет).

Коммунистка Донна Клара
Для всемирного пожара —
Чтоб культуру сжечь дотла —
Потрудилась, как могла.
Но пришла злодейка-старость,
Ослабела в сердце ярость.
Одряхлевшая мадам,
Потерявши счет годам,
Заговариваться стала:
То в защиту капитала,
То о том, что нэп нелеп,
А Россия — мрачный склеп...

* * *

В заседаньи Коминтерна
Гришка молвил: «Дело скверно;
Пан Дзержинский, наш орел,
В сумасшедший дом побрел;
Рыков — русская стихия, —
Допивается до змия,
Троцкий скоро в третий раз
Будет послан на Кавказ;
Коллонтай — в тоске тяжелой
От проблемы однополой...
Даже Цеткина сама
Нынче спятила с ума».

* * *

Сталин крикнул: «Верно! Bravo!
Пригласите Наркомздрава:
Он подумает чуть-чуть —
И пропишет что-нибудь...»
Тут, не делая промашки,
Попросили у Семашки
Без задержки, в ту же ночь
Горю красному помочь.
И Семашко башковитый,
Окружен врачебной свитой,
Наловивши обезьян,
Причинивши им изъян,
Приступил: «Начнемте с Клары,
У нее все ткани стары:
Ей для красных пропаганд
Не хватает свежих гланд».

* * *

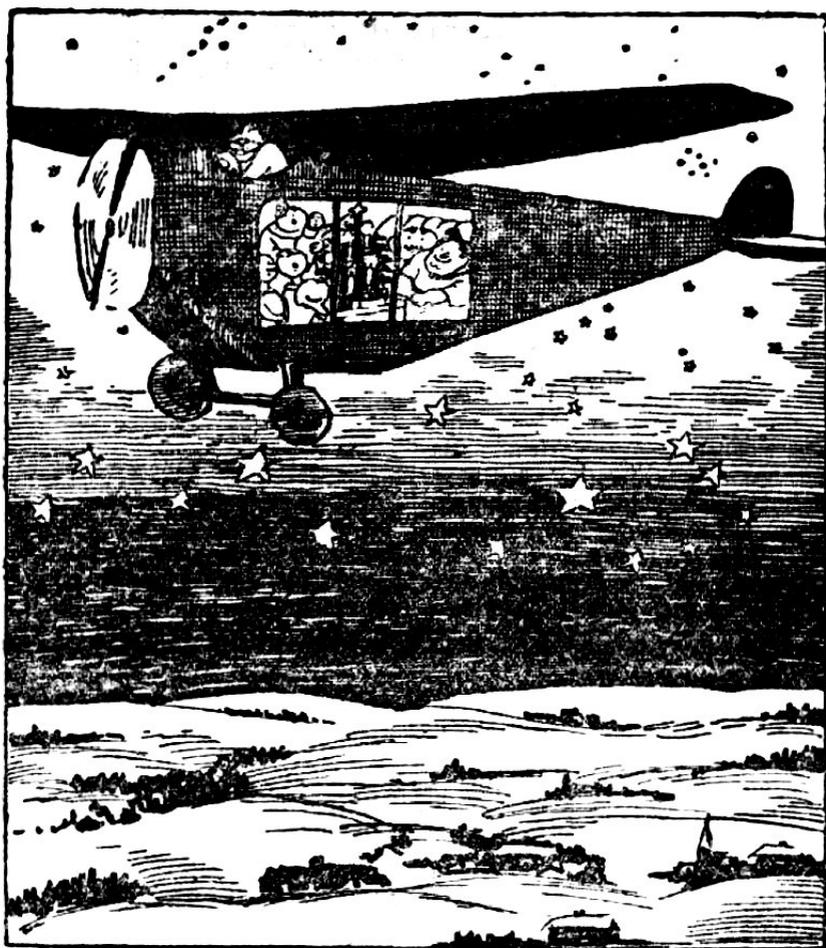
Все свершил Семашкин гений.
Ночь прошла без осложнений.
Гланды Кларе по нутру,
Встала Клара поутру,
Молода, стройна, красива,
Жизнерадостна, игрива,
В глазках искорки горят
И надежду всем дарят.
Нацепила брошь и кольца,
Ущипнула комсомольца
И стремительным прыжком
Поскакала в Совнарком.
Посылая всем улыбки,
Изогнула стан свой гибкий
И вскочила на карниз,

И глядит оттуда вниз.
А внизу сидит Семашко.
Клара вскрикнула: «Милашка!
Я полна огня и сил,
Ты мне юность возвратил».
Поглядела вниз лукаво
На Семашку, Наркомздрава,
И, забыв свой слабый пол,
Ловко вспрыгнула на стол.
Изорвала все бумажки.
И в объятия Семашки
Жадно бросилась, запев
Эротический напев.
Тут смутились все наркомы:
«Что за странные приемы?»
И, покуда не остыл
Обезьяний Кларин пыл, —
Посадить решили в клетку
Слишком пылкую кокетку...
И с букетом красных роз
К ней приставлен Наркомпрос.

* * *

Виновата ли старуха,
Что случилась с вей проруха,
Или новый препарат
Дал неожиданный результат, —
Это дело уж не наше.
Но старушка стала краше
Всех советских обезьян.
Наркомпрос, от страсти пьян,
В честь безумно-знойной дамы
Сочинил две новых драмы.
Перед клеткою народ
В восхищении орет.

Все хотят омолодиться,
Сладкой жизнью насладиться...
Ну, а клетка не страшна:
В красной клетке вся страна.



Елка въ недалекое будущее.

А. Куприн

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БУРЖУЕВ

Наступили тридцатые годы XX столетия. Великая перманентная революция все еще продолжалась. Русский буржуазият приближался к полному вымиранию, побуждаемый к этому голодом, неумеренными расстрелами, а также массовыми перекочевками буржуев на советские пастбища. Живой, неподдельный буржуй стал такой же редкостью, как некогда беловежский зубр. Исчезновение этой ценной породы не шутя встревожило дальновидные государственные умы. Были изданы соответствующие декреты и приняты решительные меры.

Сначала постановили: считать смерть каждого буржуя, хотя и самую естественную, как гнусный саботаж и наглую контрреволюцию, отвечать за которую должны как заложники его ближайшие родственники, подлежащие за попустительство и подстрекательство немедленному расстрелу. Но потом «цик» вовремя спохватился и остановил это распоряжение. Тогда строжайше был воспрещен переход из буржуазного состояния в совдеповское. Буржуев предложили рассматривать как национальную собственность, порученную общественному попечению и присмотру подобно тому, как публичные сады в Европе.

Однако буржуи упорно продолжали свой черный саботаж, потому что умереть тогда было гораздо легче, чем выкурить папироску.

Скоро их числилось наперечет десять, потом пять, три, два, и наконец остался во всей Советской России всего лишь один бессемейный и вдовый буржуй Степан Нилыч Рыбкин, житель Малой Загвоздки близ Гатчины, бывший владелец зеленой и курятной лавки.

Именно к его-то покосившему деревянному, в три окошка, но собственному домишке с мезонином подкатил 24 декабря 1935 года щегольской «Рено», из которого вышли два красных комиссара с серьезными выражениями на умных красных лицах. Не торопясь, учтиво поднялись они на крыльцо, разделись и вошли в крошечную гостиную. Их встретил хозяин, пожилой, но еще свежий мужчина с почтенной лысиной и с проседью в окладистой бороде.

— Прошу садиться. Чем могу служить?

Комиссары сели и оглянулись вокруг: икона, освещенная зеленоватым огоньком лампы, тюлевые занавески на окнах, герань на подоконнике, клетка от канарейки, вязаная скатерть на столе, граммофонная труба...

— Б-буржуйствуете? — слегка заикаясь, любезно осведомился первый комиссар с приятной улыбкой.

— Да так себе... помаленьку... Только, должен признаться, надоело мне это... Живешь таким отщепенцем... Хочу подать прошение о переводе в советские... в какой-нибудь коммунальный склад или магазин... А не примут — так нам и умереть недолго. Дело дешевое.

Второй комиссар, бывший актер, испуганно замахал на него руками:

— Что вы, что вы, батенька! Вы, голубь, этим не шутите. Я женщина нервная. Нет, куснячка, нет, такой пакости вы нам, надеюсь, не учините.

— А вот возьму и учиню. Какая моя теперь жизнь? Самая пустяковая. Можно сказать, как у прицельного зайца. Была у нас здесь раньше под Гатчиной большая ружейная охота. Очень много господ из Петербурга наезжало, и с течением времени всю дичь перебили как есть. Остался наконец всего один заяц. Старый, опытный. Фунтов пять в нем, пожалуй, заячьей дробь № 3 засело, а все бегал. Удачливый какой-то был заяц. Так охотники под конец положили уговор: зайца этого не убивать, а стрелять мимо. Для прицела, значит, и для волнения.

Съедутся они, бывало, в воскресенье, разбредутся по кустам и палят целый день в зайца. А он знай себе шмыгает между ними по полю. Так осмелел, подлец, что иной раз сядет против стрелка на задние лапки, а передними мордочку трет. А тот в шагах десяти, патрон за патроном...

— В-вы это к ч-ч-чему же?

— К тому, что и моя жизнь на манер этого зайца выходит. Жаловаться не могу, живу без обиды. Однако трудно мне. Как только революционный день какой, в июле там, или, примерно, в октябре, или опять-таки в день рождения Карла Радека, в именины Стеклова — обязательно к нам в Загвоздку тьма-тьмушая народу. Не только из Петербурга

— из Москвы приезжают. Запрудят все улицы. Ни проезду, ни проходу. Круглые сутки толпятся у меня под окнами и орут: «Смерть буржуазии! Да здравствует диктатура пролетариата!» Речи говорят с моего крыльца... Каждый раз все одно и то же... Скучно... А то из револьверов начнут стрелять. Целую ночь палят. Индо голова от трескотни вспухнет. Я, конечно, знаю, что палят мимо, в воздух. Но, однако, в день бракосочетания писателя Ясинского все-таки стекло на чердаке продырявили.

— Ук-кажите нам этого прохвоста. Мы его с-самого проды-ды-дырявим.

— А ну его, дурака... Не стоит. Но, вообще говоря, это буржуйное ремесло мне, товарищи, надоело. Не желаю я больше. Не могу. Не хочу. Примите меня куда-нибудь. Прошу вас покорнейше. Покорнейше вас прошу. Хоть в чрезвычайку, что ли...

— Да ведь, роднуша, какие теперь чрезвычайки? Там, дорогуля, никакой нет работы. Дуют весь день в очко и читают Ната Пинкертона, а упражняются только на деревянных манекенах, чтобы злобность не потерять. Оставайтесь, милотида, оставайтесь у нас по-прежнему в буржуях. Мы ли вас не холим? Мы ли вас не лелеем? Хотите, мы вам домик поуютнее присмотрим? В Стрельне... можно и в красном Питере... Желаете, ангел, — даже и с прислугой можно...

— Нет уж, куда нам, — угрюмо бурчит Рыбкин.

— Авто-то-то-томобиль?

— Не надо.

— Может быть, вы, прелестнечек, пайком недовольны?

— Жаловаться не могу. Провизией доволен. На днях индейку прислали, икры фунт, окорочок, красного вина три бутылки... А все не то... Не играет сердце... Тоскую...

— А что, товарищ, не жениться ли вам? Для расп-п-лоду? А?

— А и взаправду, голуба! Это мысль! Хотите, женим? Не бойтесь, не по-совдеповски — как прежде, по-церковному. Попа вам выпишем из-за границы... настоящего. Дадим ему охранную грамоту туда и обратно... Хотите, жизнено-

чек?.. А? Мигом споровим. Не успеете оглянуться... Ну, конечно, не без маленькой враждебной демонстрации... Пошутим немного, помитингуем... Ведь не привыкать стать, вкусячка?..

Рыбкин отвернулся к окну и устало махнул рукой:

— Оставьте... бросьте... Скучно все это... Надоело... Да и вообще, оставили бы вы меня в покое. Ну зачем я вам?

Комиссары, вероятно уже в сотый раз, стали объяснять ему всю важность его службы при перманентной революции. Во-первых, необходим же пролетарским массам живой объект для очередного излияния священного народного гнева. Во-вторых, классовая борьба, в которой обретешь ты право свое... Где же мы найдем этот враждебный класс, если последний буржуй сбежит или сдастся и бороться будет больше не с кем? Что, наконец, скажут о России международные товарищи? Что подумают иностранные корреспонденты? Нет, товарищ Рыбкин, оставайтесь на вашем славном посту. Не губите дела революции... Актер говорил так убедительно, что даже слезы заструились по его жирной, бритой щеке...

Степан Нилыч лениво подпер ладонью голову, покачал ею и вздохнул:

— Ладно уж... Не плачь... Жалко мне тебя. Послужу еще с годик, а там увижу. Ведь это я так только — раскис сегодня немного... Сидел тут один и раздумывал... Вот, думаю, прежде у людей елка была... детишки... свечей много... золото сусальное блестит... бусы качаются... смолой пахнет... И так грустновато мне стало... Ну, ничего... Обойдется...

Товарищи комиссары переглянулись и тотчас же стали прощаться. Казалось, одна и та же мысль промелькнула одновременно в умах обоих. В передней они крепко пожимали руку хозяина. За дверями на улице стояли в синих снежных сумерках фиолетовые деревья.

Проводив гостей, Степан Нилыч сходил по привычке на то место, где раньше была церковь. Постоял там минут двадцать. Пробовал вспомнить рождественские ирмосы, но не мог... Память заржавела. Потом зашел к куму, коммунальному сапожнику, посидел у него часа полтора. Заглянул в

какие-то брошюрки, валявшиеся на окне, но наткнулся на знакомые, опротивевшие слова о гибели буржуазного строя и бросил. Обоим хотелось поговорить о прежнем, тогдашнем, но за стеной жил ЧК и был, на несчастье, дома.

Когда Рыбкин подходил к своему дому, то еще издали его поразил необыкновенно яркий свет, лившийся из окон на снег в палисаднике и на голые черные деревья. Посередине комнаты стояла небольшая елка, вся сиявшая маленькими теплыми огоньками. Золотые и серебряные украшения весело поблескивали. Тут висели, подрагивая и чуть раскачиваясь, миниатюрные гильотинки, изящные модели виселиц, топоры и плахи, серпы и молоты и другие революционные игрушки и эмблемы. Одна свечка слегка подкоптила еловую хвою, и так приятно пахло дымком.

— В борьбе обрешь ты право свое, — пролепетал Рыбкин и заплакал.

Заплакал от горя и умиления.

Декабрь 1919 г.

Примечания

Н. Наядин (Прохожий). Неизвестные племена

Иллюстрированная Россия (Париж). 1926. № 16 (49).

А. Росселевич. Наши на Луне

Иллюстрированная Россия (Париж). 1926. № 39 (72).

А. М. Росселевич (1902-1977) – деятель кадетского движения. Учился в кадетских корпусах в Хабаровске, Петербурге и Одессе, в 1920 г. с некоторыми кадетами последнего проделал поход к румынской границе. Закончил Русский кадетский корпус в Сараево, учился в Белградском и Лувенском университетах, позднее жил в Брюсселе, с 1958 г. – в Нью-Йорке.

Обитаем ли Марс?

Иллюстрированная Россия (Париж). 1928. № 9 (146).

МАД (М. А. Дризо, 1887-1953) – художник-карикатурист. Сын одесского врача. В 1908-18 гг. выступал как карикатурист в одесских газетах. В 1919 г. эмигрировал в Константинополь, откуда переехал в Берлин. Публиковался в многочисленных русских эмигрантских газетах и журналах, франц. газетах, как иллюстратор оформил кн. В. Жаботинского, С. Черного. В июле 1942 г. был арестован оккупантами за ранее опубликованные карикатуры на Гитлера и других нацистских вождей. Был чудом освобожден в мае 1943, позднее скрывался, жил с женой по поддельным документам. После Второй мировой войны входил в Союз русских писателей в Париже и сотрудничал во французской прессе.

А. Куприн. Последний буржуй

Иллюстрированная Россия (Париж). 1927. № 52 (137).

«Последний буржуй» представляет собой расширенную версию фельетона «Последний из буржуев», написанного в декабре 1919 г. и опубликованного в газ. *Новая русская жизнь* и альм. *Родная земля* (Нью-Йорк, 1921). Данный фельетон приведен нами в приложении.

А. Куприн. Заклятие

Иллюстрированная Россия (Париж). 1927. № 39 (124).

А. Куприн. Серебряный волк

Публикуется по: *Возрождение* (Париж), 1931, № 2045, 7 января. Впервые: *Одесские новости*. 1901, № 5230, 4 марта, под заг. «Оборотень (Полесская легенда)».

К. Коровин. Болота

Рассказ художника и писателя К. А. Коровина (1861-1939) был впервые напечатан в газ. *Возрождение* (Париж), 1934, № 3378, 2 сентября.

Тэффи. О привидениях

Рассказ Тэффи (Н. А. Бучинской, 1872-1952) публикуется по: *Сегодня* (Рига), 1924, № 294, 25 декабря.

Тэффи. Фрау Фиш

Сегодня (Рига), 1922, № 294, 31 декабря.

И. Лукаш. Страх

Возрождение (Париж), 1933, № 2784, 15 января.

И. С. Лукаш (1892-1940) – прозаик, поэт, драматург, критик, художник-иллюстратор. Родился в семье швейцара и натурщика петербургской Академии художеств. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Дебютировал как поэт-эгофутурист (сб. *Цветы ядовитые*, 1910). В период Гражданской войны воевал в Добровольческой армии, печатался в газ. *Юг России*, *Голос Таврии*. В эмиграции с 1920 г., жил в Турции, Болгарии, Чехии, с 1922 г. в Берлине, с 1927 г. в Париже. Широко публиковался в периодике, выпустил в эмиграции ряд сборников рассказов и очерков, несколько исторических романов.

И. Лукаш. Черт

Возрождение (Париж), 1931, № 2045, 7 января.

И. Лукаш. Мерхенгейм

Возрождение (Париж), 1929, № 1315, 7 января.

Н. Рощин. Луна над Страсбургом

Возрождение (Париж), 1937, № 4061, 16 января и № 4062, 23 января. В данной публ. глава II ошибочно названа «Горе маленького утенка».

Н. А. Рошин (Федоров, 1895-1956) – прозаик. В 1916 г. поступил в школу прапорщиков, был произведен в офицеры. Участник Первой мировой войны, в феврале-июне 1918 г. был в немецком плену. Участник Гражданской войны, был тяжело ранен в 1919 г. и вместе с госпиталем эвакуирован в Югославию. Учился на философском факультете Загребского университета; в 1924 г. переехал в Париж, работал на вагоноремонтном заводе. С 1925 – лит. сотрудник газ. *Возрождение*. Широко публиковался в эмигрантской периодике от Парижа до Харбина. В годы Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, был награжден орденом Почетного легиона. В 1946 г. получил советский паспорт и вернулся в СССР, выступал с рассказами и очерками, однако не смог опубликовать свое главное произведение – *Парижский дневник*. Автор ряда сб. рассказов, романа *Белая сирень* (1937).

И. Голенищев-Кутузов. Мария

Возрождение (Париж), 1932, № 2505, 1 апреля.

И. Н. Голенищев-Кутузов (1904-1969) – поэт, переводчик, филолог. В эмиграции с 1920 г. Выпускник Белградского университета (романская филология и югославская лит-ра). В 1929-34 гг. жил в Париже, учился в Высшей школе исторических и филологических наук, выступал в русской периодике как поэт, эссеист, критик. С мая 1934 г. – приват-доцент Белградского и Загребского университетов. Во время Второй мировой войны – участник антифашистского движения, узник концлагеря «Баница» (1941-1944), с 1944 г. партизан и боец Народно-освободительной армии. В 1946 г. получил советское гражданство. В 1949 г. в связи с советско-югославским кризисом был арестован, провел четыре года в тюрьме. В 1954-55 г. профессор Будапештского университета, с 1955 г. в СССР, профессор МГУ (1956-58), член редколлегии серии «Литературные памятники». Автор трудов по Данте, литературе Ренессанса и др.

И. Голенищев-Кутузов. Звездная Ева

Возрождение (Париж), 1932, № 2606, 21 июля.

М. Первухин. Из мира таинственного

Сегодня (Рига), 1924, № 5, 6 января; № 6, 8 января; № 8, 10 января.

М. К. Первухин (1870-1928) – журналист, писатель, переводчик. Уроженец Харькова; был исключен из университета по политическим мотивам, затем из-за туберкулеза в 1899 г. поселился в Ялте. В 1900-1906 гг. редактировал газ. «Крымский курьер». В 1906 г. был выслан из Крыма за оппозиционные настроения, уехал в Германию, через год поселился в Италии. Писал (часто под различными псевдонимами) для многих российских изданий, после 1917 г. – эмигрантских. В числе прочего оставил заметное научно-фантастическое наследие, в том числе ранние романы в жанре «альтернативной истории», а также приключенческие произведения. В конце жизни на почве ярого антибольшевизма запятнал свое имя активной поддержкой итальянского фашизма.

Мечта и действительность

Иллюстрированная Россия (Париж). 1931. № 2 (295).

В. Татаринов. Человек будущего

Возрождение (Париж), 1937, № 4107, 26 ноября.

В. Е. Татаринов (1892-1961) – прозаик, критик, журналист. Учился в Петербурге и в Харьковском университете. Во время Первой мировой войны офицер Инженерно-строительной дружины Западного фронта. Во время Гражданской войны сотрудничал в крымской периодике, заведовал телеграфным отделом Крымского пресс-бюро. В эмиграции с ноября 1920 (Константинополь, затем Берлин). Печатался в берлинской и прибалтийской периодике, входил в литературно-художественное объединение «Веретено». В начале 1930-х переселился в Париж. Писал для газ. *Возрождение* и *Сегодня* (Рига), журн. *Иллюстрированная Рос-*

сия. Во время оккупации в Экс-ен-Провансе. После Второй мировой войны примкнул к движению советских патриотов, в 1945-49 гг. руководил просоветской газетой *Русские новости*. Позднее публиковался в *Русской мысли* (Париж) и *Новом русском слове* (Нью-Йорк), французских изданиях.

«Корабль» пустыни

Иллюстрированная Россия (Париж). 1927. № 24 (109).

В. Татаринов. Марсиане на Земле

Возрождение (Париж), 1934, № 3333, 19 июля.

Дон-Аминадо. Омоложение

Сегодня (Рига), 1924, № 167, 27 июля.

Дон-Аминадо (А. П. Шполянский, 1888-1967) – поэт-сатирик, мемуарист. Уроженец Елисаветграда. Изучал юриспруденцию в Одессе и Киеве, затем поселился в Москве, занялся адвокатской и литературной деятельностью. В 1918 г. уехал на юг, публиковался в киевских и одесских газетах. В 1920 г. эмигрировал через Константинополь в Париж, сотрудничал с многочисленными изданиями, став одним из самых известных сатирических поэтов эмиграции. В период нацистской оккупации Франции находился на нелегальном положении. Автор ряда сб. стихов на русском и франц. языках, воспоминаний *Поезд на третьем пути* (1954).

Civis (С. А. Цивис-Цивинский, 1895-1941) – художник-карикатурист, военный авиатор, участник Первой мировой и Гражданской войн. После революции эмигрировал в Латвию, где приобрел большую популярность, печатался во многих эмигрантских и латышских изданиях. В октябре 1940 был арестован со-

весткими властями по обвинению в шпионаже и антисоветской деятельности, вывезен в Москву и расстрелян.

Lolo. Омоложенная Клара

Возрождение (Париж), 1925, № 144, 24 октября.

Lolo (Л. Г. Мунштейн, 1866/67-1947) – поэт, публицист, драматург, театральный деятель. Выпускник юридического факультета Киевского университета св. Владимира. С середины 1890-х гг. жил в Москве. Редактор журн. *Рампа и жизнь* (1908-1918). Первая жена – литератор Т. Л. Щепкина-Куперник. Осенью 1918 г. уехал в Киев, затем через Одессу в Константинополь. С 1920 г. жил во Франции (с 1926 г. в Ницце). В эмиграции публиковался в периодике, выпустил сб. стихов *Пыль Москвы* (1931).

Елка в недалеком будущем

Сегодня (Рига), 1924, № 294, 25 декабря.

А. Куприн. Последний из буржуев

Впервые: *Новая русская жизнь* (Гельсингфорс), 1919, № 18, 25 декабря.

Все тексты опубликованы по первоизданиям с исправлением ряда устаревших особенностей орфография и пунктуации и очевидных опечаток. Фрагменты, набранные в оригинале с разрядкой, даны курсивом. В оформлении обложки использована работа Ф. Мазереля.

Оглавление

Н. Наядин (Прохожий). Неизвестные племена	5
А. Росселевич. Наши на Луне	15
<i>Обитаем ли Марс?</i>	26
А. Куприн. Последний буржуй	27
А. Куприн. Заклятие	39
А. Куприн. Серебряный волк	43
К. Коровин. Болото	53
Тэффи. О привидениях	59
Тэффи. Фрау Фиш	63
И. Лукаш. Страх	68
И. Лукаш. Черт	74
И. Лукаш. Мерхенгейм	85
Н. Рощин. Луна над Страсбургом	92
И. Голенищев-Кутузов. Мария	105
И. Голенищев-Кутузов. Звездная Ева	110
М. Первухин. Из мира таинственного	117
<i>Мечта и действительность</i>	129
В. Татаринков. Человек будущего	130

<i>«Корабль» пустыни</i>	136
В. Татаринов. Марсиане на Земле	137
Приложения	
Дон-Аминадо. Омоложение	145
Лоло. Омоложенная Клара	151
<i>Елка в недалеком будущем</i>	156
А. Куприн. Последний из буржуев	157
Примечания	163

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.